



## **СЕРГЕЙ ХОРУЖИЙ**

доктор физико-математических наук,  
главный научный сотрудник Института философии  
Российской Академии наук

## **Русский философ в Литве: a case study**

### Приглашение

Их встреча была определенно не из тех, которые предначертаны на небесах. По обыкновенной логике вещей им вообще было не с чего встречаться — русскому историку и философу Льву Карсавину и литовской стране. Но встреча произошла, и непредвиденно она стала большим событием для каждой из сторон, принесла крупные плоды. Неожиданно они подошли друг другу. Приехав в Литву в 1928 г., Карсавин так больше и не покинул ее по своей воле; он жил здесь, пока не был арестован советскими органами в 1949 г. и в 1950-м не увезен в северные лагеря, откуда вернуться ему было не суждено. Литва же помнит его по сей день и не забудет уже: имя Карсавина здесь — известное всем, чтимое и славное имя.

Инициатива в их отношениях принадлежала ей, Литве. Все двадцатые годы новорожденная республика усиленно занималась строительством своей отечественной государственности, культуры, науки, образования — естественно, с переменным успехом. *Mutatis mutandis*, этот период в постимперском существовании бывших частей царской России сопоставим с аналогичным периодом в постсоветском существовании бывших советских республик. Как мы сегодня хорошо знаем, такое время не обходится без неизбежной волны национального самоутверждения, выражающегося, в первую очередь, в отталкивании от имперского прошлого и его русской

основы, — а отсюда, по инерции, и от всего русского как такового. Эти общие обстоятельства имеют прямое отношение к нашему герою. В высшей школе заведомо не хватало туземных кадров, в особенности для таких научных постов, на которых предполагались ученые высшего профессионального уровня, с именем и положением в науке. Приглашение иностранцев было необходимостью, и в 1927 г. подобная необходимость возникла в связи с оказавшейся вакантной кафедрой всеобщей истории столичного университета — университета Витаутаса Великого в Каунасе (напомним, что Вильнюс в период между мировыми войнами принадлежал Польше). В научных кругах Литвы было в то время двое добрых знакомых Карсавина: философ В. Э. Сеземан, бывший его коллега по университету, и юрист А. Вольдемарас, коллега по Бестужевским высшим женским курсам, который к тому же в 1926 г. стал премьер-министром страны. Благодаря им (как полагал сам Карсавин, рекомендация принадлежала Сеземану) факультет гуманитарных наук принял к рассмотрению кандидатуру Карсавина после того, как назначенный ранее Р. Ю. Виппер, известный историк Древнего Рима, сообщил, что он не склонен покидать занимаемую им кафедру в Риге. Но в силу упомянутых обстоятельств вопрос о приглашении Карсавина вышел за стены университета. Он стал предметом активных дебатов в литовской прессе, и обсуждались в них отнюдь не только профессиональные данные кандидата.

Среди профессуры, в газетах высказывались сомнения и протесты по поводу намеченного приглашения. Возражения были двояки, как общего плана, так и персонального. Общие касались приглашения нелитовца, разрешения ему читать лекции в первые годы не по-литовски, усиления русского присутствия и влияния. Персональные же обнаруживали внимательное, но и весьма пристрастное знакомство с «личным делом» кандидата. Выпустив большой цикл исторических трудов, снискавших ему репутацию крупного историка, Карсавин с середины 20-х годов сосредоточился больше на философии, развивая собственную систему религиозной метафизики; выпустил он и книгу по богословию Отцов Церкви. В этот же период он сблизился с Евразийским движением, стоявшим на антизападных и антикатолических позициях. Все эти факты были поставлены ему в вину: выпуск богословской книги доказывал, что он — «крайний православный» и проповедник «русско-византийского мистицизма», евразийские статьи демонстрировали его вражду к литовской национальной религии, католичеству, а занятия философией заставляли предполагать, что как историк он перестал работать и утерял профессиональную квалификацию. Хотя эти аргументы успешно парировались и 15 ноября 1927 г. приглашение было подтверждено и направлено кандидату официально — тем не менее очевидно, что отношения философа и страны начинались отнюдь не идиллически. Современное исследование этого эпизода, открывшего собой литовский период Карсавина, заканчивается следующим выводом: «Ученого, прибывшего в Каунас в январе 1928 г., ожидали предубеждения, которые ему удалось блестяще развеять»<sup>1)</sup>.

1) *Лавриненц П.* Полемика по поводу приглашения Льва Карсавина в Литовский университет // В сб.: Контексты Льва Карсавина. Вильнюс, 2004. С. 159.

## Путь предшествующий

К началу литовского периода биографии за плечами у русского мыслителя лежал уже на редкость богатый, сложный жизненный и творческий путь. Карсавин родился в 1882 г. в семье танцовщика Петербургского балета Платона Карсавина (через три года у него появилась сестра, будущая великая балерина и звезда дягилевских «Русских сезонов» Тамара Карсавина) и уже в гимназии обнаружил блестящие дарования — как, впрочем, и некоторые свойства характера, в будущем причинявшие ему немалые неудобства: чрезвычайно независимый нрав, иронию и насмешливость, тягу к вызывающе звучащим высказываниям... Поступив на историко-филологический факультет Петербургского университета, он, учась на старших курсах, примыкает к научной школе крупнейшего историка древнего мира И. М. Гревса, становится одним из его многочисленных учеников — притом «самым блестящим из всех», согласно свидетельству самого учителя. Его научной специальностью становится Западное Средневековье в его религиозной стихии, а первой большой темой — ранняя история францисканского движения. Несколько лет усиленной работы, включающей и занятия в архивах Италии, приводят к созданию первого крупного труда «Очерки религиозной жизни в Италии в 12–13 вв.» (1912). Вслед за тем в его деятельности все заметней, сильнее начинает заявлять о себе его дар мыслителя. Продолжая исследования средневековой религиозности, Карсавин переходит к научным обобщениям, к разработке новых понятий и подходов, обращающих взгляд историка от обычных предметов прежней науки — истории государств, институций, узаконений — к *человеку в истории*, конкретному человеку с его внутренним миром. Этот поворот, убедительно представленный в его следующей большой книге, докторской диссертации «Основы средневековой религиозности», защищенной в Петербургском университете в 1916 г., предвосхищает будущие пути исторической мысли — в частности, многие установки знаменитой школы «Анналов» во Франции. Сегодня специалисты утверждают дружно: «Карсавин методологически опередил зарубежную медиевистику»<sup>2)</sup>; «Исследования Карсавина... предвосхитили то, что делалось в исторической науке на полвека позднее»<sup>3)</sup>. Однако вклад Карсавина в это будущее развитие был оценен по заслугам лишь в недавнее время, когда его имя и его творчество были возвращены из забвения.

Но стремление его мысли к обобщающему, углубленному видению и познанию реальности не задержалось на этапе «Основ»; уже в ближайшие годы его интересы обращаются к еще более общей проблематике, к теории исторического знания как такового, затем к философии истории, чтобы далее наконец оставить область истории вообще — в пользу религиозной философии. Нет сомнений, что именно здесь лежал его главный дар; и имя

2) *Ивинский П.* Контексты Карсавина // В сб.: Контексты Льва Карсавина. Вильнюс, 2004. С. 25.

3) *Мелих Ю.* Средний европеец — средний не религиозный человек // В сб.: Контексты Льва Карсавина. Вильнюс, 2004. С. 56.

его осталось в истории прежде всего как имя одного из крупнейших русских философов минувшего века, создателя оригинальной системы христианской метафизики. Эта система возникала, оформлялась и развивалась у него с удивительной быстротой: всего-навсего 9 лет отделяют появление ее первого очерка-наброска в книге «Noctes Petropolitanae» (1920, опубли. 1922) от публикации окончательного и наиболее зрелого ее изложения, трактата «О личности» (1929). Это десятилетие — звездные годы Карсавина, которые вместили в себя множество важнейших, узловых событий его пути. В плане жизненном это его *Wanderjahre*, годы изгнания и странствий, начавшиеся на родине, в России, и закончившиеся на «второй родине» — Литве; это и годы бурных переживаний, увидевшие мощный всплеск лирической стихии в его душе, рождение и крушение большой любви, подчинившей его себе. В творческом же плане они объемлют собой без малого всю его философию: помимо двух названных трудов, за это время им созданы еще два изложения его метафизики всеединства — монографии «Философия истории» (1923) и «О началах» (1925), книга «Джордано Бруно» (1923) — о мыслителе, весьма ему близком и на него повлиявшем, целый ряд меньших, но существенных философско-богословских текстов, а также значительный цикл философской публицистики евразийского периода (где выделяется особо брошюра «Церковь, личность и государство» (1927), в сжатых тезисах формулирующая основы его системы).

Евразийство — важная и популярная тема в постсоветской России, и потому о связи с ним нашего героя надо сказать несколько слов. В течение ряда лет (1926–1929) он считался основным теоретиком этого движения, выразителем его религиозных и философских позиций; был автором или соавтором ряда его программных документов. При этом, однако, он не был в числе основателей движения и всегда оставался в стороне от его руководящего внутреннего ядра; больше того, он нисколько не разделял и многих «фирменных» идей евразийства, входящих в самую суть и специфику его доктрины, — прежде всего пресловутого «упора в Азию», безудержного монголофильства и монголофильской ревизии русской истории. С движением его соединял исторический реализм, признание безвозвратного ухода Имперской России и взгляд на режим большевиков как на дееспособное государственное устройство, при всех пороках его обеспечивающее историческое бытие России на новом этапе. Но и тут почва для согласия была ограниченной. С 1927–1928 гг. Карсавин — наряду с Сергеем Эфроном, мужем Марины Цветаевой, — оказывается в числе лидеров левого, или «кламарского» (от городка Кламар под Парижем, где жили тогда и Карсавин, и Эфрон), крыла евразийцев, заходившего особенно далеко в одобрении и пропаганде большевистского опыта. Деятельность кламарцев — одним из их главных дел был выпуск в 1928–1929 гг. еженедельной газеты «Евразия», где Карсавин поместил немало своих статей, — была явно неудачной, лишь вызвав раскол и склоки во всей евразийской среде. После этого эпизода Карсавин целиком отходит от сотрудничества с движением, и лишь в немногих его позднейших текстах можно найти выражение евразийских взглядов.

Но, ограничиваясь лишь научной и публичной деятельностью Карсавина, совершенно невозможно понять его жизнь и его судьбу, да даже и саму эту деятельность. Культура Серебряного века и созданный ею — или ее создавший, тут оба залога равноправны! — специфический тип творческой личности строились на синтезе, сплаве, взаимопроникновении стихий жизни и творчества; и Лев Платонович Карсавин ярчайше воплотил в себе этот тип. Путь его был подлинным жизнетворчеством, за которым скрывалась личная драма, драма любви и жертвы, что служило единым питающим источником и экзистенциальным ключом к этому пути. На этот ключ указал он сам, уже в свои поздние, последние годы написав в письме к героине драмы: «Это Вы связали во мне метафизику с моей биографией и с жизнью вообще». Внешняя канва драмы не столь сложна. В 1920 г. у профессора завязываются лирические отношения с Еленой Скржинской, талантливой студенткой также из круга учеников Гревса. Они переходят в пылкое взаимное чувство, уникальным дневником которого становится книга «*Noctes Petropolitanae*», пишущаяся на пике его нарастания, расцвета и в едином восторженном потоке сливающая мистику, метафизику и любовные излияния. Следующие два года философ разрывается внешне и внутренне между новым чувством, захватившим его, и чувствами долга и привязанности к семье: будучи давно женат, он уже имел трех дочерей. Внешней развязкой становится «философский пароход», высылка философов, чуждых марксизму и большевизму, за рубеж, в Германию, осенью 1922 г. Но даже внешне развязка не была окончательной: в мае 1923 г. Елена едет к изгнаннику в Берлин, и все лето у философа длятся прежние жестокие колебания, — пока, наконец, в сентябре, утратив надежды, героиня не уезжает обратно. Внутренняя же их связь не разорвалась никогда — и драма, уже навсегда поселившаяся в его душе, становится фоном и шифром его творчества. Уже в Литве она получит новое яркое выражение: в 1931 г. Карсавин напишет здесь «Поэму о смерти» — как и «*Noctes*», лирико-философский текст, с той же героиней. Теперь, однако, у нее литовское имя, Элените, и автор о ней говорит как о... скончавшейся, мертвой (меж тем Елена жила в России). Эмоционально эта вторая философская исповедь — резкая противоположность первой, она вся до предела — на мучительной боли и жестоком надрыве, на горькой иронии и трагической отрешенности. Это — последнее философское сочинение, выпущенное Карсавиным при жизни. В обрамлении двух уникальных документов философии-лирики-исповеди-игры корпус его философских текстов предстает как самый причудливый интеллектуальный ансамбль, рожденный неподражаемой культурой Серебряного века.

### Как становятся «Литовским Платоном»

Таким — не самым обычным из смертных, мягко говоря, — был человек, который в январе 1928 г. занял кафедру всеобщей истории в Университете Витаутаса Великого. Как полагается русскому интеллигенту, он был принципиальным во взглядах, мог быть и резким на идейной почве (что мы уви-

дим еще); но против новой своей страны он не имел ничего — и первым делом постарался исправить ложные представления о себе и своем отношении к ней, вступив в прямую переписку с главным противником своего приглашения в Каунас, прелатом А. Якштасом-Дамбраускасом. Этот прелат тоже мало кому бы уступил по части необычности своей фигуры — он был не только одним из лидеров литовских католиков, теологом и философом, но еще математиком, литератором, поэтом и энтузиастом языка эсперанто; и, когда Карсавин объяснил ему свои позиции — в частности, конкретную обусловленность своих антикатолических статей и свою полную открытость к межконфессиональному диалогу — два оригинала, кажется, благополучно уладили отношения.

Дальше на очередь вставали отношения с языком, и они уладились еще лучше. Карсавин и литовский язык — особая тема, не упускаемая никем при описании литовской эпопеи философа. «Это еще один его роман, и начинался он так. Я отвечаю ему по-русски, а он: „Нет, Вы ко мне обращайтесь по-литовски, я хочу научиться! Очень тяжелый язык, ничего общего со славянским не имеет, но все-таки интересный язык... удивительный язык“. И что поразительно — очень скоро он со мной начал говорить, через полгода уже. Один раз пришел внезапно — мужа не было дома, и ко мне: „Я уже говорю по-литовски, можем побеседовать!“ — Обращается на чистом литовском языке. Муж вернулся, я говорю: „Вот, профессор Карсавин был, мы беседовали по-литовски“. — „Да неужели?“ — муж удивился. — „Удивительно способный к лингвистике...“ — ответила ему я».<sup>4)</sup> Так вспоминала в 1993 г. г-жа Юлия Шалкаускене, вдова каунасского коллеги Карсавина, виднейшего католического философа Литвы Ст. Шалкаускаса, к которому мы еще вернемся. Она же описывает и следующий этап отношений с языком, который наступил вскоре: «Без всякого акцента говорил — на чисто литературном языке... Даже произношение поправлял у своих коллег, которые ударение неправильно ставили... разбирался в акцентологии. Иногда я скажу так, через скорую разговорку, не совсем правильно — так он говорит: извините, мне кажется, здесь ударение надо было так поставить... даже меня поправлял». Окончательный же этап по достоинству оценили крупнейшие литовские ученые. Говорит Бронислав Гензялис, маститый философ, председатель Комитета по науке и образованию парламента Литвы: «Он был настолько мастер литературного языка, что был редактором журнала Гуманитарного факультета... мог править лингвистически и стилистически тексты, написанные по-литовски. Он правил даже не только тексты, он правил речь литовцев... Все свои тексты он писал прямо на литовском языке, не переводя с русского — он уже мыслил по-литовски... имел способность воплощать русскую метафизику в категориях литовской философии. Ведь еще и терминология не была достаточно разработана, у нас проблемы с научной терминологией. И в этом тоже роль Карсавина весьма значительна». Альгирдас

4) Интервью г-жи Юлии Шалкаускене автору (Каунас, сентябрь 1993 г.). Здесь и далее мы цитируем неопубликованные стенограммы интервью, собранных С. С. Хоружим в Литве осенью 1993 г., в ходе работы над телефильмом «Любовь и смерть Льва Карсавина».



Греймас, один из ведущих лингвистов XX века, учась в Каунасе на юридическом факультете, ходил слушать Карсавина на другой факультет; и строки из его мемуаров впечатляюще завершают нашу серию отзывов: «Он говорил по-литовски в совершенстве: слушая его, я отдавал себе отчет в том, что литовский язык способен быть одновременно ясным и утонченным... Мне удалось встретить в жизни еще только одного человека, язык которого был столь же прекрасен и высоко культурен. Но он был сыном другой империи: Адорно»<sup>5)</sup>.

После сказанного несколько не удивительно, что вместо отпущенных ему по контракту трех лет Карсавин перешел в чтении всех своих лекций на литовский язык уже через два года. Эти лекции его — следующий и, пожалуй, центральный сюжет во всей теме о встрече философа и страны: именно ими внес он свой основной вклад в становящуюся интеллектуальную культуру Литвы. Априори это вовсе не очевидно — отчего бы учебным курсам профессора-историка быть крупным культурным вкладом национального значения? Но причина на это есть, притом не одна. Во-первых, лекции Карсавина своим профессиональным, интеллектуальным, культурным уровнем далеко превышали — и повышали! — тамошние научные и педагогические стандарты. Помимо обычных общих курсов, он еще прочел около 20(!) разнообразнейших курсов специальных, необычайно развивая, расширяя горизонты своих слушателей. А кроме этой академической причины, есть и другая, человеческая: здесь, следом за талантом в литовском языке, раскрылся другой яркий талант Карсавина. Карсавинские лекции остались особым событием в культурной памяти нации; о них доньше передаются рассказы, легенды. «Лев Платонович был самый блестящий лектор. Не только по содержанию его лекции были очень интересные, очень глубокие, но он был артист на кафедре. Он был до того артистичен, что покорял аудиторию именно своим артистизмом. И его лекции слушать приходил весь Каунас, даже люди, которые не учились в университете». Эту общую характеристику, данную одной из слушательниц, Инной Исааковной Мейксниене, продолжает, конкретизирует свидетельство другой, искусствоведа Альдоны Львовны Кончене: «Он за столом никогда не сидел. Общение с аудиторией было самое живое, самое непосредственное, и хотя мы, студенты, всегда очень боялись, но все-таки с ним себя чувствовали очень хорошо и свободно... На лекции о суворовских походах он не только спел солдатскую песню, которую солдаты пели во время похода, но он даже как-то двигался... Мы просто их видели как живых в этом походе! И, конечно, после каждой лекции было много-много разговоров». Заметим, что здесь, в этой карсавинской методе чтения, проявляется не просто лекторское искусство, умение достичь живости и доходчивости. Дело глубже. За этим лежит и определенный подход к историческому познанию, определенная герменевтика: Карсавин на практике проводит установку «вживания» историка в предмет,

5) *Greimas A. J. Iš arti ir iš toli.* [Цит. с французского перевода статьи S. Žukas. Karsavin et le monde intellectuel lituanien (à travers les souvenirs de A. J. Greimas) // *Revue des Études Slaves*. 1996. T. 68(3). P. 368.]

в обстановку и атмосферу явления и эпохи. В науке связывают эту установку с Дильтеем, но Карсавин, разделяя ее, имел для нее и собственные прочные основания в своей теории всеединства. Особенно ярко этот эффект вживания выступает еще в одном рассказе, уже не о лекции, а о простой беседе с сотрудниками Художественного музея, где он работал после войны. Рассказывает Б. Микенайте: «Мы попросили нам немножко объяснить больше об одном портрете XVI века», — и объяснял Карсавин *три с половиной часа*. «Всю историю, всю эпоху открыл нам через одну картину... всю жизнь этого времени, когда художник сделал этот портрет. Какая там жизнь была в стране... и сам художник, и его настроение, и те, которые заказали этот портрет, какие это люди были... Все удивлялись, как человек может все это из одного портрета открыть».

Подобных рассказов множество — и видно воочию, как фигура их героя принимает очертания и масштаб культурного символа. Материалы лекций он затем обрабатывал, дополнял — и на их базе на всем протяжении 30-х годов создавались и выпускались тома капитального труда «Europos kultūros istorija» («История европейской культуры»). Пять томов этого уникального для Литвы проекта вышли в свет в шести книгах в 1931–1937 гг.; законченный 6-й том, посвященный эпохе Реформации, был утрачен в рукописи при событиях первой сталинской оккупации в 1940 г. Многотомный курс — в 1990-е гг. он был целиком переиздан — был, несомненно, новым словом в литовской науке и ее высшим достижением, и в немалой мере он сохраняет это свое место доныне. Вся же в целом деятельность Карсавина в университете, в науке с трудом поддается обозрению: помимо названного уже, он основал исторический журнал «Senovė» («Старина»), организовал исторический семинар и руководил им, разрабатывал концепции, темы, планы работы историков... и чего-чего еще он не делал в эти долгие 22 года своего литовского бытия. Еще одной гранью его образа в культурной среде был ореол мыслителя, мудреца; хотя его философские труды не были переведены, о них, конечно, было известно, и незнакомство с их содержанием, быть может, даже содействовало созданию ореола.

Итак, имя крупного деятеля науки и мастера литовского языка, слава непревзойденного лектора-просветителя, ореол мыслителя-мудреца — из таких граней складывается образ Карсавина в литовском сознании; и в купе они делают разве что чуть-чуть ироническим то прозвание, которое ему нередко дают сегодня: *Литовский Платон*. Стоит, впрочем, добавить, что называли его также и *Литовский Вольтер* — за язвительное остроумие...

Пока мы говорили только о том, чем был Карсавин для Литвы, о его служении. Но надо ведь и спросить: а чем Литва была для него? Каково ему было здесь, чем стали в его биографии литовские годы? И, прежде всего, какие причины его привели сюда, отчего он решился поменять европейскую столицу, Париж, на окраину с незавидной культурной репутацией? Карсавин как историк отвергал причинные объяснения, сказав как-то, что ставить вопрос о событиях и ситуациях в биографии человека надо иначе. *Я должен лишь спросить у себя: почему я хотел этого?* Последуем же его указанию. Почему он хотел этого? Ко времени литовского приглашения у философа



обозначилась явная неудача по всем линиям поиска близкого, родственного по духу окружения и устойчивых, надежных рабочих и творческих контактов. Отношения с евразийством, всегда далекие от полного согласия и гармонии, определенно изживали себя. Еще определеннее не сложились отношения с главными религиозно-философскими силами русской эмиграции, центром которых с середины 1920-х гг. становится парижский Богословский институт преподобного Сергия Радонежского. При организации этого института Карсавин был кандидатом на занятие в нем кафедры патрологии, но был отвергнут. Прямым поводом к тому был его нашумевший адюльтерный роман; но и независимо от него он как религиозный мыслитель едва ли мог бы подойти Институту: не столько по сути своих воззрений, сколько по духу и стилю. В богословии Институт держался не фундаменталистской, а, скорее, свободомыслящей линии, был очагом религиозного модернизма, и учение его знаменитого декана, о. Сергия Булгакова, софиология, со строгих позиций православной догматики было еще сомнительней, чем карсавинские построения. Но зато стиль и атмосфера, заведенные тут, следовали старотрадиционным канонам благообразия и благочиния, которым Карсавин никак не удовлетворял. Ему было свойственно не только вольномыслие, но и *вольноречие*: как говорила мне его дочь Сусанна Львовна, «отец ради красивого словца не пожалеет отца»; да он и сам не раз признавал за собой «невоздержанность на язык». Многие его остроты (как, скажем, хорошо всем запомнившийся девиз для богословия: «взять Бога за рога») были заведомо неприемлемы для православия *style St Serge*. И вообще, в характере его был несомненный антиконформизм, вызов, и никаким господствующим взглядам и нравам он не желал следовать покорно. В первые годы власти большевиков он нарочито разыгрывал чуть ли не черносотенца и власть эту называл «жидовской», а в годы гитлеровской власти в Вильнюсе, по некоторым свидетельствам, «прятал евреев и помогал им обменивать вещи»... Однако для историка Запада, для философа, чья мысль развивалась под влиянием Кузанского, Бруно, Бернарда Клервоского, имелся, казалось бы, еще один естественный путь: путь сближения с западными кругами, интеграции в западную культуру. Карсавин, тем не менее, отказался от этого пути, избрав свою типичную позицию дистанцирования, отчужденности — хотя на сей раз оснований для нее никак не видно. Суждения исследователей по этому поводу гадательны, и мы поэтому ограничимся лишь констатацией факта и одной яркой иллюстрацией из рассказов Сусанны Львовны. В парижский период Карсавина не раз пытались связать с западными философами, и, в частности, о том немало старался его молодой почитатель А. В. Кожевников, позднее ставший знаменитым как французский философ Кожев. Кожевников хотел устроить знакомство Карсавина с Жаком Маритеном, одним из виднейших католических мыслителей XX века. Сусанна Львовна рассказывала мне об этом так: «Маритен, с ним Кожевников собирался познакомить отца... но отец был, знаете, не легкого характера... обругать этого Маритена дураком — это все-таки, знаете, нехорошо. Так что там ничего не вышло».

Так или иначе, но перемена, назревавшая в существовании философа, воплотилась в форме перемещения в Литву. Как доносят рассказы г-жи

Юлии Шалкаускене, новое место и обстановку он воспринял вполне положительно, они вызвали у него впечатление спокойствия и уюта, в которых он испытывал нужду: «Он говорил, ему очень понравился Каунас... такой курортный ему казался городок... говорил, что здесь можно прямо отдохнуть после Парижа... можно не только работать, но и отдыхать». Первоначально он жил в Каунасе один, на лето и по другим случаям наезжая к оставленному в Кламаре семейству. Затем к нему присоединилась старшая дочь Ирина, а после выхода замуж средней дочери Марианны в 1933 г. (за одного из лидеров евразийства П. П. Сувчинского) в Каунас перебрались и жена с младшей дочерью Сусанной, уже нами многократно цитированной. Нечего и говорить, что жизнь его здесь не протекала курортной идиллией; как мы достаточно убедились выше, его активность была огромной. Но, хотя нагрузки его были самые интенсивные, вместе с тем его деятельность на ниве просвещения и науки получала признание, лекции и их неподдельный успех несли ему удовлетворение — и, может быть, в эти каунасские годы ему действительно в некой мере удалось «отдохнуть после Парижа».

Одного только нам нельзя не учесть: при всех существенных и зримых плодах этих лет в них нет главного — нет дальнейшего развития своей философии. Здесь мы вновь уклонимся от всех попыток объяснений и толкований. Констатируем: после «Поэмы о смерти», которую чуткий слушатель (А. З. Штейнберг) оценил сразу как прощание с жизнью, философское творчество Карсавина, составляющее, без сомнения, главный нерв его творческой личности, замирает. Так длится весь каунасский период. Некоторым замещением, суррогатом занятий философией для него, вероятно, служат в этот период регулярные философские беседы, которые велись в образовавшемся кружке из четырех философов: кроме него, в этот кружок входили уже упоминавшиеся Ст. Шалкаускас и В. Э. Сеземан, а также В. С. Шилкарский, прежде учившийся в Московском университете и занимавшийся творчеством Вл. Соловьева. Существование этого нигде не описанного философского сообщества я обнаружил в своих литовских встречах 1993 г., и более основательное изучение его еще предстоит. Кружок собирался более 10 лет, по средам, когда его участники раньше заканчивали свои лекции, в доме Шалкаускасов; беседы шли первое время по-французски, потом по-литовски. Говорит снова г-жа Юлия, бывшая хозяйкой этих бесед: «Во время учебного года они каждую неделю собирались, потому что философские вопросы были актуальны и моему мужу, и профессору Сеземану, и профессору Шилкарскому... А профессор Карсавин был универсальный, ему все вопросы были интересны... Я, понятно, тогда мало понимала в философии, так слушала... мне интересно было, что если какие-нибудь слова он по-русски говорил, то повторял по-литовски тоже. Тот же термин». Однако и деятельность кружка все же не была для Карсавина творческим философствованием, не породила каких-либо новых разработок.

И все же возврат к творчеству начал происходить. Толчком для этого послужила переписка с молодым австрийским философом и теологом-иезуитом Г. Веттером, которая завязалась в декабре 1939 г. и активно велась вплоть до занятия Литвы Красной Армией в июне 1940 г. Письма Веттера —

в самом деле, подкупающий документ, они поражают и заражают живой преданностью истине, пытливым стремлением проникнуть в глубь предмета, и, отвечая на них, Карсавин должен был снова обратиться к ключевым проблемам своей метафизики. Для его мысли 40-е годы — годы возврата, возрождения: уже не в «курортном городке», а в новой-старой литовской столице, Вильнюсе, в условиях гитлеровского, а затем сталинского режима, он создает новые философские вещи. Возврат оказывается нелегко, небыстр: его мысль как будто заново проходит тот же путь, на котором рождалась его метафизика в начале двадцатых, путь постепенного перехода от конкретно-исторического видения — через теоретико-исторические, методологические обобщения — к философскому осмыслению. Как можно судить по краткому пересказу<sup>6)</sup>, его большой труд 1940-х гг., написанный по-литовски и еще не изданный, следуя за литовской же «Историей европейской культуры» как русская «Теория истории» (1920) за «Очерками» и «Основами», пересматривает проблематику теории и методологии исторического познания (но уже несравненно детальней, основательней, чем делала это «Теория истории»). И, как и в двадцатые годы, далее следует уже собственно метафизика. При аресте философа в 1949 г. остался незаконченным другой большой труд, который он писал в последние свои месяцы и годы на свободе, и тема этого труда — проблема времени в рамках системы всеединства Карсавина. Но даже арест и лагерь не смогли оборвать вернувшейся тяги к творчеству. В тюрьме Вильнюса он сочиняет «Венок сонетов», стихи которого с мастерским лаконизмом дают поэтическое резюме его философии, ее главные темы и мотивы. А в северном лагере, уже на пороге смерти, наступившей от туберкулеза 20 июля 1952 г., им создается еще целый ряд богословско-философских работ, которые остаются для нас сегодня его философским завещанием и примером мужества мысли.

Но эти философские страницы уже несколько за рамками нашей темы. Тема же требует задать другой, совсем банально звучащий вопрос: так как же, в конце концов, герой наш относился к Литве? Как полагается у философа, ответ на вопрос неоднозначен, включает несколько планов. В прямом, непосредственно *эмпирическом плане* мы находим ответ в записках А. З. Штейнберга, близкого карсавинского знакомого, который в его каунасские годы не раз приезжал в Литву и встречался с ним. Этот ответ, относящийся, вероятно, к начальному периоду литовской жизни, весьма в духе тех едких выпадов Льва Платоновича, в которых он, как говорила Сусанна Львовна, для красного словца мог не пожалеть и отца. По словам Карсавина, независимое литовское государство — вовсе не настоящая нация, а только лишь «маленькое историческое недоразумение». Литве следует быть в тесной связи с Россией, и такая связь была бы обоюдно благотворна: в частности, присутствие католичества литовского типа (Карсавин считал его умеренным, в отличие от польского) принесло бы России пользу. Но, кроме этого чисто эмпирического суждения, у Карсавина не мог не возникнуть и другой взгляд на «литовский вопрос» — взгляд, диктуемый самой

6) См.: Ивинский П. Указ. соч. С. 40–42.

его метафизикой. По его теории, всякая социальная общность, группа есть «соборная» или «симфоническая» личность, которая своим особым, несовершенным и «стяженным» образом содержит в себе и репрезентирует всеединство, совершенное и целокупное бытие; и в своем существовании она должна осуществлять собой всеединство как можно полнее и совершенней. Соответственно, и Литва — симфоническая личность; она своим уникальным образом представляет всеединство и в своем бытии должна самостоятельно его раскрыть — так что и оценивать ее историю следует в перспективе этого ее самостоятельного бытийного задания. Отражение этого *взгляда в метафизическом плане* мы находим в одном из документов каунасского периода, где Карсавин, в частности, говорит, что при изучении литовской истории нельзя ее помещать (как это делалось раньше) в перспективу истории российской или польской, — но вместо этого необходимо «рассматривать прошлое Литвы, базируясь на специфических особенностях жизни самой Литвы»<sup>7)</sup>. И, наконец, в финале его литовской эпопеи мы находим в его отношении к стране еще один, третий план. В 1948 г., пережив войну в Литве, будучи уже в царстве Сталина, он поехал в Москву, чтобы добиться подтверждения своих научных званий (ему удалось это сделать). В этой поездке его сопровождала одна из сотрудниц Вильнюсского Художественного музея, где он работал тогда, уже нами цитированная Б. Микенайте. Она рассказала мне: когда они были в Москве с Карсавиным, он сказал ей, что для него Россия и Литва — это его две страны, две родины. В этих его словах — *вторая родина*, — сказанных после двадцати лет жизни в Литве, мы можем по праву видеть итоговый и самый глубокий план в его многослойном отношении к стране. Этот *экзистенциальный план* выразил и закрепил выросшую между ними за все эти годы личностную, эмоциональную и духовную связь.

### Путь Крестный

Дважды, в 1940-м и 1944-м гг., Карсавин пережил в Литве вступление советских войск и установление власти большевиков. Перед каждым вступлением он имел возможность уехать, был убеждаем и понуждаем уехать — но оставался. Все пишущие о его биографии обсуждают эти его решения, ищут им объяснений. Отдал и я дань этому. Сейчас, однако, воздержимся от объяснений и только спросим снова по принципу Карсавина: *почему он хотел этого?* Не притязая на полноту ответа, я укажу здесь всего два фактора. Первый — простой как апельсин: да он хотел быть в России, с Россией, хотел участвовать в ее истории, ее судьбе! Вот вам весь фактор, и это неслабый фактор, я уверяю. По одному из мемуарных свидетельств, при вступлении Красной Армии в 1944 г. он вышел на улицу с хлебом-солью, по другому — целовал Красную Площадь, приехав в 1948 г. в Москву... Другой фактор иного рода, и вовсе нелестный для философа: он не особенно

7) Цит. по: Lesourd F. Aperçu biographique // Lev Karsavine. Le poème de la mort. Lausanne. Editions L'Age d'Homme. 2003. P. 166. Цитируемый документ подписан совместно Карсавиным и двумя его коллегами-историками.

понимал, что его ждет, — не понимал природы того общества, которое его готовилось поглотить. Над ним довлела его собственная социальная философия — концепция социального устройства по модели симфонической личности. Она могла описать, что такое деспотический режим, жесткий режим, рабский режим, но она не давала никакого понимания того, что такое тоталитаризм и режим массового террора. И все, что я знаю о Карсавине и его философии, увы, заставляет меня считать, что у философа действительно не было понимания этих явлений. Так, кажется, считала и Сусанна Львовна: «Он долго не мог понять, он понял только тогда, когда приехали из Москвы смотреть, как преподают и что говорят». Покончив с «объяснениями», скажем о том, как это происходило, словами Сусанны Львовны. Вот первое вступление большевиков, 1940 г.: «Мать [жена философа — С. Х.] на него наперла, говорила, „иди во французское посольство, иди еще в то посольство, давай уедем“. — „Нет, что это такое? Я лояльно отношусь...“ [N. N.] его предостерегал, что большевики ухушатся. — „Ну, это естественно: укрепились, так значит ухушатся!“» Второе вступление, 1944 г.: «Он снова не захотел, Боже мой; мать просила, Ирина просила, Креве [В. Креве-Мицкявичус, декан Гуманитарного факультета] его призвал и говорил: „Уезжаем, у меня вагон есть!“ А он ни в какую: „Они улучшились, большевики...“ Это многие имели такую глупую идею...» После второго вступления произошел и миниатюрный эпизод весьма в духе Карсавина: «Когда это... погнали русских — встретил его один литовец: „Поздравляю, мы опять в Европе!“ А он затаил, и когда пришли большевики, он встретил того и говорит: „Поздравляю, мы опять в Азии!“» Вариация на евразийскую тему...

Оказавшись в Азии, Лев Платонович проявлял себя стойким европейцем. Это отнюдь не была линия сознательного и последовательного политического протеста: вернувшись по своей воле в Азию, он согласился тем самым быть лояльным к азиатской власти. Но он никогда не соглашался и не согласился бы изменять себе и всегда оставался самим собой — цивилизованным европейцем, петербуржцем. В собранных мною интервью много фактов и эпизодов, показывающих, к чему это вело. Приведем несколько характерных. Вот столкновение с высокой комиссией из Москвы, как будто по незначительному поводу. Говорит г-н Юлис Шалкаускас, сын Ст. Шалкаускаса: «Когда из костела Св. Екатерины забирали картины, Карсавин обратил сразу внимание на работы Чехвичуса, очень хорошего художника из Вильнюса. И ему сказали: „Заберите в музей, если это для вас ценно“. Он говорит: „Но их же не вынуть, они вмонтированы, там все монолитно в алтаре“. И кто-то из чиновников ему указывает: „Возьмите нож, вырежьте из рамы, и будете иметь.“ Ну, тут он, рассказывали, разозлился очень, очень реагировал остро: „К такому варварству я своей руки не приложу ни в коем случае!“ И потом очень скоро его в Вильнюсе не стало... Это произвело впечатление: вот человек, который умеет сопротивляться! Тогда любое сопротивление было крайне опасно: шла еще партизанская война во всех лесах Литвы. Такое выражение своего мнения, конечно, расценивалось как большая смелость и мужественность, когда за какой-нибудь мелкий дурацкий анекдот многие

никогда не вернулись». Возможно, о той же комиссии из центра вспоминает и Вильма Бруновна Сеземан, вдова коллеги Карсавина и спутника многих лет В. Э. Сеземана: «Пришли на лекцию Льва Платоновича, потом к нему — с замечаниями, указаниями. А он им: а вы читали такой-то английский труд? А вот такой-то, французский? — Нет? Так вы неучи, не знаете литературы, не знаете даже языков, вы просто понять не можете моих лекций!» Но кроме подобных случаев, так сказать, культурно-академического протеста, были все же и явно связанные с политикой. Рассказ И. Мейксниене: «Один эпизод мне запомнился очень хорошо. Уже после ареста Ирины Львовны состоялись очередные выборы. Лев Платонович не пошел на выборы. Ну, и под вечер к нему пришли так называемые агитаторы — узнать, почему он не пришел. Обратились к нему и сказали: ведь все уже голосовали, а вы еще не были. Тогда он показал на свою собачку — она всегда лежала у его ног — и сказал: она тоже еще не голосовала». Следующий рассказ В. Б. Сеземан кажется совсем уже фантастическим, но если даже это легенда, она — вполне в образе: «Тоже уже после ареста Ирины Львовны он читал лекцию в Доме офицеров о роли личности в истории... После лекции один из слушателей прислал записку с вопросом: считает ли он Иосифа Виссарионовича Сталина вождем народов? Лев Платонович прочел громко вопрос и ответил: „Не считаю“».

Понятно, что исход всего этого мог быть только один, и не имеет особого значения, какой именно повод был избран для его ареста, произошедшего 8 июля 1949 г. После следствия и приговора, в апреле 1950 г., он был отправлен из Вильнюсской тюрьмы в северные лагеря — в лагпункт Абезь на приполярном Урале, принадлежавший к комплексу лагерей Инты. Так состоялось его расставание с его второй родиной. Лагерные дни философа описаны многократно, и мы не будем повторять этих описаний, отослав читателя к моему очерку о Карсавине в книге «После перерыва. Пути русской философии», а еще лучше — к первоисточнику, замечательной книге лагерного ученика Карсавина Анатолия Анатольевича Ванеева «Два года в Абези».

Скажем лишь в заключение о том, какой общий духовный смысл обретает судьба мыслителя в свете постигшего его жребия. Другой лагерный ученик Карсавина, Юрий Константинович Герасимов, с которым мне посчастливилось немало беседовать, накрепко запомнил слова, сказанные Карсавиным в последние дни его жизни: «Душа моя со слезами вымолила у Господа, чтобы мне умереть в Абези». И он так понял эти слова: «В метафорической форме это было его высказывание о решении пойти крестным путем, принести свою жизнь в жертву, как это и должно быть идеалом каждого христианина». Можно лишь присоединиться к этому пониманию. Оно никак не противоречит тому, что философ нисколько не стремился сам в лагерь, не пытался сам, за Бога, своей волей себе устроить жертвенный жребий. Напротив! Таким и бывает крестный путь христианина — настоящее мученичество, каким его с древности видели христиане. *Нельзя самому искать мученичества*, этот жребий дается по Его воле, твое же дело лишь не отступить от него. Христианскому философу Льву Карсавину выпал сей жребий — и он возносил молитву свою о том, чтобы от него не отступить. Молитва его была услышана.





**АЛЕКСАНДР СЕКАЦКИЙ** — кандидат философских наук, доцент философского факультета СПбГУ, писатель;  
**ТАТЬЯНА ГОРИЧЕВА** — писатель и философ;  
**ДАНИЭЛЬ ОРЛОВ** — философ

---

## ФИЛОСОФСКИЕ БЕСЕДЫ

### Наваждение глобализма

#### Беседа 1. Плюшевая эпоха и ее герои

**Татьяна Михайловна Горичева:** — Современный мир, обусловленный разрастанием процессов глобализации, ввергает человека в новый, невиданный доселе этап заброшенности, онтологической бесприютности.



Никакие признаки комфорта или видимого благополучия не способны сокрыть этого положения дел. Старинное понятие *deus ex machina* (бог из машины) приобретает совершенно новый смысл. Развитие компьютерных технологий кажется зачастую разрешением едва ли не большинства фундаментальных человеческих проблем. Достаточно лишь поместить их в особое виртуальное пространство. Любовь, общение, познание, творчество здесь оказываются облегченными до предела, до последней степени эфемерности: можно разорвать коммуни-

кацию там, где она перестает тебя устраивать. Подлинная близость не то что не возникает — она является принципиально неосуществимой. Любовь к ближнему полностью заменена любовью к дальнему. То, о чем в свое время поведал Ницше как о любви к дальнему, — и торжествует сейчас в сетях тотальной коммуникации. Можно было бы подумать, что они вроде бы сближают людей, делают возможным мгновенный контакт с противоположной частью света, отменяя разделяющие нас пространства. Однако это не та близость, которая в подлинном смысле слова делает людей близкими. Да, виртуальная реальность обнаруживает исчезновение пространства и времени, но что она предлагает им взамен? Абсолютно дальнего, которого вовсе не существует, который, будучи придуманным богом из машины, шаг за шагом приближается к тому, чтобы осуществлять полный контроль над

сознанием и волей человека, над его свободой и призванием. Все большее и большее число людей проводят свое время, сидя в Интернете или упершись в экран телевизора. Это парализует волю, лишает чувства настоящей реальности, погружает в полусон-полуявь. Что они видят, переходя с сайта на сайт или лихорадочно переключая телевизионные каналы? Их действия, подчиненные загадочной мании, находятся в резонансе с гипнотическим ритмом машинного бога. Я не хочу выступать с позиции полного отрицания информационных технологий — их полезность всем очевидна, — но и не замечать их минусов тоже нельзя.

**Александр Куприянович Секацкий:** — Важным аспектом в теме глобализации или общечеловеческого единства должно служить такое понятие, как валюта согласия. Собственно говоря, на основе чего это согласие возможно? Как оно может выглядеть? Что это такое? Здесь всегда существуют недоговариваемые аспекты. Например, даже противники глобализации обычно протестуют против ее издержек, предполагая, что, помимо издержек, есть нечто, неотменимое в принципе. Чем же может быть это неотменимое — то самое пресловутое согласие, которое считается чем-то самим по себе безупречным? Таково ли оно на самом деле — вот в чем вопрос. Со всей очевидностью возникает проблема истощения содержания, которое только и делает возможным это согласие. На первый взгляд, трудно возражать против обеспечения таких вещей, как минимальный повседневный комфорт, свободное пересечение границ, единые экономические правила и т. п. Но возражать можно и нужно, потому что, как я полагаю, они представляют собой некие эпифеномены совсем других процессов, имеющих совсем другую направленность. И тогда окажется, что выставляемое в качестве бесспорной ценности миролюбие есть просто побочный феномен духовного разоружения, некоего отказа, капитуляции. Или любви к дальнему, как справедливо сказала Татьяна. Понятно, что в категории дальнего сама любовь утрачивает какой-либо отчетливый смысл. Скорее всего, она обозначает нечто среднее, — то, что в философии Хабада называется «беноним». С одной стороны, действительно, исчезает навык пристального внимания к ближнему, готовности вникать в его проблемы. С другой стороны, и дальний, который должен оставаться дальним, занимать свою нишу, становится неким «средним». Мы сталкиваемся с примитивно-имманентным пространством, где отсутствуют трансцендентные переходы. Как вообще могло бы выглядеть согласие, способное сформировать общечеловеческое единство, если уж мы признаем такую цель в качестве приемлемой, а возможно, и существенной? Мне вспоминается образ платоновского государства, в котором единение достигается путем добровольного самопожертвования всех входящих в государство сословий. Не только стражи лишены собственности, но даже философы управляют неохотно, даже их приходится просить, и всегда возникает вопрос, во имя чего? Почему для того, что делается таким способом, неизбежно требуются акты самопожертвования? Нет иного объяснения, кроме странной идеи



музыки сфер, когда идеально устроенный космос или идеально устроенное социальное целое издают своеобразный аккорд, буквально — согласие, которое должно фиксироваться какой-то отсутствующей хроносенсорикой. Поскольку *homo sapiens* не музыкален в смысле метамузыки, — а только в смысле примитивного звукоряда, то получается, что музыка, исполняемая на фестивале богов, о которой говорил Ницше, принципиально неслышима и лишь очень косвенно отражается в сфере земной музыки. Если и возможно согласие, которое было бы существенным, а не достигнутым путем бесконечной инфляции и девальвации ценностей, то, конечно, это согласие именно такого рода. И не было бы ничего более достоверного, чем непосредственная чувственность высшего контрапункта, — того, что греки называли «кайрос», обозначающий решающий момент внутреннего времени. Если бы непосредственная хроносенсорика, в чем-то похожая, быть может, на имперское самочувствие, в отличие от имперского сознания, то есть на некое непосредственное начало, была бы представлена, то, по-видимому, только через этот достаточно сложный путь мы могли бы говорить об общечеловеческом единстве, к которому имело бы смысл стремиться. Глобализация — суррогатная валюта согласия, возникающая на пустом месте, там, где единое согласие отсутствует, ибо утрачены его принципы или эти принципы невозможны.

Мы знаем отдельные региональные валюты, обеспечивающие всеобщность согласия. Например, в науке это логика. Наука есть идея интеллектуальной глобализации, обретенная еще во времена Декарта. Именно потому, что там найдена валюта согласия. Но даже в пределах самой науки логика иногда нас подводит, и уж тем более за ее пределами. Когда же мы пытаемся рассмотреть элементы социального согласия, или согласия экзистенциального, — такого, которое не связано с отказом от своего права «быть так», а представляет собой поиск кайроса, музыки сфер, неслышимых аккордов, ради которых действительно возможно все это, — то мы видим, что такой валюты нет и в принципе быть не может. Все современные региональные духовные валюты неконвертируемы друг в друга. Одно дело — ценности охотников за головами, другое дело — ценности восходящего ислама, совсем третье — ценности выродившейся демократии, которая утратила свой способ возобновления бытия. На месте их реальной неконвертируемости мы обнаруживаем суррогатную, абсолютно ничему не соответствующую валюту согласия, которая сводится к нескольким простейшим принципам. В конечном счете она сводится к самому главному тезису современной философии, который выразил Рорти, когда он сказал, что самое главное — не причинять друг другу боли. Понятно, что если выше этого тезиса философия подняться не может, то сама эта минимальная, мизерная планка показывает величину духовного потолка. Единство, обретенное на нравственном и интеллектуальном минимализме, на отсутствии какого-либо кайроса, на отсутствии каких-либо трансцендированных за горизонт идей, будет безнадежно обречено на то, что пользоваться им смогут только абсолютно уставшие от жизни люди, потерявшие всякую духовную мобилизацию, ярость, остатки духа воинственности. Это не единство, предлагающее

встать на цыпочки или вслушаться в неслышимую музыку, а наоборот, единство полностью оглохшего, управляемого, исчисляемого человека, где его управляемая воля управляема именно потому, что уже является не волей, а простой функцией суммы текстов или суммы видеопредъявлений. И любовь тоже не является любовью, а неким исчислимым аффектом, не достойным этого имени. И тогда мы видим, что если согласие достигается на этих изначально минималистских позициях, чтобы — дай Бог — никто ничего не возразил, чтобы примирить все, то мы понимаем, что такое примирение работает против себя. Оно ничего не примиряет, а полагаемое на основе этого примирения единство оказывается фикцией самого худшего рода. Фикцией, которая, по моему глубокому убеждению, является тупиковой и во всех отношениях вытесняет возможные иные горизонты духовности. А они, в свою очередь, конденсируясь в собственных топосах, могут с презрением поглядывать на процесс глобализации и рано или поздно скажут свое веское слово.

**Даниэль Унтович Орлов:** — В высшей степени симптоматично, что многочисленные взоры, обращенные на процессы глобализации, обычно оказываются поверхностными. Дело не столько в отсутствии проникновенного взора, сколько в его радикальной невозможности. Некуда проникать, некуда погружать свой взгляд. Кажущиеся глубокими изменения, связываемые с глобализацией, являются едва ли не причудливой игрой бликов и отсветов на самой поверхности жизненномировых потоков. Эта игра не изменяет их очертания и не затрагивает их действительную глубину. Мы, в силу фундаментальных обстоятельств европейской традиции мышления, по инерции еще полагаем, что за всяким явлением кроется его сущность, которая постольку-поскольку никогда и никоим образом с явлением не совпадает, требует специфического метода для собственного постижения. При этом не важно, о сущности в каком именно историческом смысле идет речь, — в смысле античной метафизики, новоевропейской философии или немецкой классики. Важно, что у нас нет достаточных оснований думать, будто вещи таковы, какими они выглядят, будто их видимость заключает в себе смысловой горизонт их бытия. Но, если видимость — лишь поверхностный эффект, пустая форма мгновенного предъявления, за которой ничего не стоит и в которой ничто не явлено, как поступить тогда? Самым разумным будет последовать фундаментальному принципу Канта: у нас существует минимум оснований отождествлять явление и видимость — понятия, которые в немецком языке передаются однокоренными и почти равнозначными словами *Erscheinung* и *Schein*. Утрата рефлексивного навыка различения этих понятий привела к возникновению страшной путаницы. Это достаточно значимый момент для того, чтобы отдать себе отчет в исходном пункте размышлений. Нынешний период, называемый периодом глобализации, вряд ли может претендовать на возникновение какой-либо самостоятельной метафизики, или какого-либо исключительного духовного опыта, или хотя бы вполне себе соответствующей



системы мировоззрения. Его запросам отвечает другое. А именно господству пустой видимости, нарастающей подобно снежному кому («стадия видео» в терминах Бодрийяра), отвечает и видимость в суждениях об этих процессах. Ничего не поделаешь, мы действительно способны высказывать только суждения видимости, а не суждения истины, поскольку предмет, о котором ведется речь, требует именно этого. Собственно говоря, этого требует странный, гипнотизирующий бог из машины, о котором говорила Татьяна, обращающий к нам мерцающее циклопическое око, то ли в виде компьютерного монитора, то ли в виде телеэкрана. Но и суждения видимости могут обнаружить в себе точку превратности, позволяющую высказываться достаточно определенно о нынешней стадии становления мира и претендовать на по-своему внятную аналитику современности. Дело в том, что, сколь бы видимость ни была тотальной, она все же предполагает того, кто видит, — делающий ее собственно видимостью *взгляд*, — а стало быть, пусть минимальное, но трансцендирование. Не исключена парадоксальная возможность видимости, не обеспеченной видом (эйдосом), лишенной стоящего за ней и представленного в ней сущего, однако этот мыльный пузырь не лишает своих неотъемлемых прав *видящего*, который способен отвести взор или закрыть глаза и, тем самым, всю паноптическую фикцию поставить под вопрос. Наверное, следует взглянуть на окружающую действительность в некотором смысле *широко закрытыми глазами*, — единственным взором, доступным трансцендентальному субъекту восприятия, которому, возможно, философия XX столетия слишком поспешила возвестить его собственную смерть. Для примера обратимся к феномену масс, которые на протяжении всего XX века находились в точке исключительно бурного социального кипения. А каков облик масс в наше время, к чему они пришли? Они пришли к практически полному исчезновению, достигли стадии социального испарения. Они победили историю, обвалили и развеяли обломки исторической сцены, на которой выступили в конце XIX века и которую полностью оккупировали в веке XX. Вместе с этой сценой они и сгорели в огне войн и революций. Говорится о массовой культуре, массовом сознании, но это чисто фантомные проявления, исчезающие формы прежнего способа существования масс. Все, что массы оставили, — фантомный след. А сами растворились без остатка, без какого-либо остаточного проявления своей активности. Сначала масса бросала вызов филистерскому бюргерскому духу с его укладом, теперь она всецело совпала с ним. Прежние массы не были «массовым» явлением. Они представляли собой коллективные тела, движимые яростными силами тотальной мобилизации, в которой существовавший порядок, подобно руде в печи, призван был переплавиться в образцы новых форм. Теперь масса — внешняя граница социума, его тотальность, тогда как внутренние границы отнесены на счет новых дикарей и маргинальных групп. Когда общество превратилось в массу инертную и конформную, сама масса незаметно демобилизовалась и рассыпалась на атомарные частицы. Аккумуляция массы — признак скорого социального взрыва, ее разбукание — симптом ее вялотекущей диссипации, долговременного распада. Мы живем в обществе, в котором все становится массой, но ничто массой



не является. Некогда массы конденсировали в себе признаки конфликта, теперь они выражают черты полного безразличия, отказа от реагирования. Бодрийяр назвал персонажа, выступающего под маской современного социального субъекта, «индифферентным пароксистом». Затяжной приступ индифферентности. Следовало бы добавить еще одного персонажа — зеркальное *alter ego* первого, обозначив его как эстетизированного имбецила. Это тот, кто является адресатом бесчисленных рекламных призывов, зрителем непрекращающихся телешоу и потребителем товаров с пустым содержанием и нулевым коэффициентом полезности. Визуальный шантаж и диктат внешности. Безразлично-безличное образование на месте прежнего, не важно, массового или индивидуального, социального субъекта, лишенное четких контуров и сколько-нибудь вразумительного языка, оказывается героем современной эпохи, вполне отвечающим ее духу и настрою. Люди теперь собираются в массы не ради достижения каких-то целей, а напротив, когда у них вообще нет никаких целей, когда они полностью освобождены от символических обязанностей и, тем самым, от социального как такового. Это празднующиеся, мигрирующие по туристическим маршрутам скопища людей. Ироничным отражением состояния нынешних масс является так называемый *флэш моб*, когда в каком-либо месте внезапно собираются люди, производят бессмысленные действия и исчезают без следа. Приходится признать очевидное — осталась только видимость социального, его пустая форма, продолжающая, как бобок или органчик, произносить сакраментальные заклинания по поводу демократии, либерализма и общечеловеческих ценностей, но сама стремительно скатывающаяся к точке затухания. Масса — как зыбучий песок, который уходит сам в себя, который, приходя в движение, сам в себе обнаруживает собственное исчезновение. Особенность диссипативных масс — их мгновенное превращение в затягивающий в себя шевелящийся хаос, который поддерживает на своей поверхности лишь видимость прочного порядка. Всего-навсего *видимость*.

**Т. М.:** — Освобождение человека от тяжелого и однообразного труда, который практически всецело препоручен машинам и техническим приспособлениям, вовсе не привело к тем следствиям, о которых некогда мечтал Маркс. Высвобожденное время не тратится на цели некоторого духовного совершенствования, оно в нарастающей прогрессии заполняется исключительно зрелищем и бессмысленной коммуникацией. Это приводит к чудовищному оглуплению масс. На одном из международных конгрессов, проходившем в Лос-Анджелесе, было заявлено, что в ближайшем обозримом будущем только 20 % трудоспособного населения развитого мира продолжат работать, в то время как остальные 80 % станут, используя термин Бжезинского, «сосущими грудь», «сосунками» (*tittytainment*). Наступила эпоха, знаменующая конец труда в традиционном понимании этого слова. Можно поддерживать минимально приемлемый уровень существования не работая, не находясь ни в каких эквивалентных отношениях с миром. Тебе выдадут достаточно денег для того, чтобы ты смог купить телевизор, какой-нибудь незамысловатой еды вроде пиццы или гамбургера, и не испытывал



необходимости слишком удаляться от телеэкрана. Никакого смысла жизни, никакого напряжения или перспективы. Приблизительно таков, по Ницше, образ существования последнего человека: «маленькое удовольствие днем и маленькое удовольствие ночью». Вы говорили об этическом усреднении принципов любви к ближнему и любви к дальнему, о том, что в условиях глобализации эти принципы размываются, теряют отчетливость и образуют нечто «среднее». Важно добавить, что параллельно с этим идет процесс исчезновения среднего класса. Российские политики много рассуждают о необходимости создавать средний класс. Едва ли подобное возможно. С момента своего возникновения это был класс работающий, производящий. Сейчас он практически исчез и в Европе, и в Америке. На его месте сформировался класс потребляющий. Много говорится о том, что современная экономика ориентирована на производство не товара, а спроса, что она стремится определять желания покупателей и управлять ими. Судьба виртуальных капиталов в значительной степени зависит от того, насколько успешно удастся это делать. Составляющая классического товарообмена здесь оказывается минимальной. Мир целиком и полностью колонизирован агентами глобального потребительского шаблона. Не осталось ни одного кусочка земли, где не встречалось бы Макдональдса, Пепси-колы, Микки Мауса и т. д. Все они являются зримыми признаками исчезновения национальных государств, утрачивающих значимость своих границ под натиском транснационального капитала. Когда лет 15 назад я побывала в Непале, я повстречалась с высочайшей культурой и мощнейшим мистическим полем. Было страшно ходить по земле от религиозных токов, которые били чуть ли не из каждого кустика или камня. Теперь рассказывается об увлечении тамошних монахов футболом. Это показывает, насколько быстро происходит глобализация, до неузнаваемости изменяющая облик мира посредством той мерки, которая вроде бы всех устраивает.

**А. К.:** — Я попытаюсь включиться в поиск ключевых слов, что весьма важно для понимания происходящего в мире. Мне кажется, одно из ключевых слов, которое здесь должно присутствовать, слово «анестезия». Причем анестезия в почти буквальном смысле. Как будто бы больного забили на хирургическом столе под наркозом, и он в нем и пребывает. Есть такое выражение — «умер не приходя в сознание». Создается ощущение, что современное человечество пока еще живет, не приходя в сознание. Но как будто бы и не придет в него, если даже такие решающие попытки разбудить его, как события 11 сентября, все-таки не привели к пробуждению сознания. А это обозначало бы всего лишь одно — назвать вещи своими именами. Не тут-то было, никто вещи своими именами не назвал. Вместо возвращения в сознание получилась какая-то странная реанимация трупa, который способен, по-видимому, сокрушать все направо и налево, но реально в сознание прийти так и не может. Эта странная анестезия продолжается. В чем она проявляется? Она проявляется сплошь и рядом почти во всех аспектах. Возьмем понятие массы, о котором говорил Даниэль. Понятно, что кто только не писал о массах, начиная от Аристотеля, включая Тарда,

Лебона, Фрейда, Канетти и т. д. Всегда отмечалась неотъемлемая черта толпы — спонтанное возникновение коллективного тела, — чья размерность и пусть примитивная одухотворенность превышает размерность отдельного человека. Пусть даже масса усиливает не лучшие стороны индивида, но она всегда усиливает. И парадокс в том, что эпоха наступившей анестезии разрушила даже одухотворенность толпы. Грубо говоря, даже нахождение в толпе не продуцирует коллективного тела. Человек анестезированной, глобализованной эпохи настолько боится собственных спонтанных проявлений, что масса все равно оказывается атомизированной. Страх причинить другому боль, страх проявить любую непосредственную эмоцию. Этот тотальный самоконтроль, который на первый взгляд объясняется уважением к другому, чуть ли не выполнением кантовского императива, на самом деле просто оборачивается тотальной друг другу ненужностью. Ибо если я боюсь и всячески избегаю возможности как-то спонтанно проявить себя, ожидая этого же от другого, — я якобы делаю это во имя другого, — то в итоге получается некий усредненный анестезированный проект, который действительно никому абсолютно не нужен. Приведу один пример. Некогда в Гамбурге меня поразил эпизод, связанный с тем, как немцы отправляются веселиться. Они заходят в автобус, корректные, вроде бы одинокие, но вот автобус трогается, и пикник стартует. Они мгновенно разворачивают свои пакеты, начинают выпивать небольшое количество пива или шнапса, тут же приходя в состояние чудовищного, казалось бы, веселья. Все выглядит пьянее, чем есть на самом деле, и все настолько ненатурально! Пока автобус приезжает на пикник, веселье продолжается. Вечером их привозят в город, они выходят из автобуса и мгновенно возвращаются в прежний мир. Веселье забыто. Странная эмоция в рамках дозволенного.

Это и есть анестезия — отсутствие вольтовой дуги между сферой аффектов и их возможной разрядкой или предъявлением к проживанию. Тотальная анестезия происходящего наталкивает на пересмотр понятия эстетики. Ведь эстетика, возьмем ее в греческом смысле слова как «эстетизис», — это попытка гармонизировать непосредственно аффективную чувственность. Но эстетика всегда предполагает, что эта чувственность предзадана, как море без берегов, которое нужно усмирить. Теперь мы видим, что эстетика в этом понимании теряет смысл, поскольку усмирять нечего. Анестезия уже произошла. Наоборот, хотелось бы найти остаточное непосредственное, пусть в форме агрессивности, однако оно отсутствует. В этом отношении следующим ключевым словом после анестезии является безвкукусность, пресность всего происходящего. Татьяна справедливо говорит об исчезновении среднего класса, решающим здесь является утрата того, что Иисус, обращаясь к рыбакам, называл «солью земли». Осталась безвкукусность и пресность, лишенная проявлений любого рода выходящих за рамки аффектов. Это утрата ощущения опасности, без чего не мог существовать средний класс, которому зачастую требовалось рисковать своим имуществом и совершать финансовые инвестиции. В отличие от сотрудников огромных корпораций, которые не рискуют ничем, а, приходя на работу, просто маскируют свою друг другу ненужность. Об этом прекрасно написал Бодрийяр в книге

«Символический обмен и смерть»: самое главное — делать вид, что нужно идти на работу, делать вид, что мне платят за некий произведенный продукт или вложенный труд, а не за то, что я просто пришел. Сфера всеобщей недоговоренности постоянно расширяется. Рамки политкорректности становятся все более и более жесткими. Главное — скрыть ненужность самому себе, ненужность другому и ненужность тебе другого, ибо реальная потребность и востребованность может быть только хоть минимально аффективной и аффектированной. Она не может возникнуть на основе анестезии. Но, поскольку анестезия существует, деваться от нее некуда.

**Д. У.:** — Современное общество, во многом утратившее навык правильного обращения с болью, страшшее боли, изгнавшее ее за границы переживания, обретает ее на новом витке в достаточно странной форме. Широкое применение анестезирующих средств привело к тому, что боль теперь не локализуема, лишена очагов, — едва ли не наиболее распространенным синдромом стала ситуация, когда болит все тело, когда боль равномерно распределена по всему телу. Не представляется возможным определить, что именно болит. Собственно, ни один из органов не затронут, поражено тело как таковое — *тело без органов*. Боль отступает из конкретных зон организма, но не уходит совсем, приобретая рассеянный характер. В современной медицине этот синдром получил название *фибромиалгии*. Телесность возвращает себе презумпцию страдания — единственный аутентичный для нее способ бытия. В чем заключались древнейшие практики локализации боли, состоявшие, по большей части, в ритуальных увечьях? Не являлись ли они как раз возможностью отреагирования боли? Ее превращения, скажем, в искусство памяти. Вероятно, именно боль скорее всего запоминается, нет лучшего носителя памяти, чем она. Наши раны остаются с нами навсегда. Да и мы сами — только *раненное бытием ничто*, темная шевелящаяся глина, которую шрамировал своим скальпелем Господь Бог. Мы попадаем в легко узнаваемый контекст, идущий от Фридриха Ницше вплоть до Дитмара Кампера, — в традицию, в нынешних условиях либо эстетизированную, либо маргинальную: «„Вжигать, дабы осталось в памяти: лишь то, что не перестает *причинять боль*, остается в памяти“ — таков основной тезис наидревнейшей (к сожалению, и продолжительнейшей) психологии на земле...»<sup>1)</sup> Изначальный способ сделать память о чем-либо неизгладимой — принять эту неизгладимость буквально-телесно, вне какого бы то ни было опосредования семиозисом. Связать ее посредством «графизмов боли» с воздействием оставляющего следы порезов и мучительных прикосновений онтологического резца. Наделить неизгладимыми знаками само тело. Самые первые «знаки», еще не обнаружившие различия означаемого и означающего, однако непрестанно воспроизводящие событие космологической жертвы в истоке существования мира, не дающие о нем забыть, и есть ритуально причиняемые телесные раны. По всей видимости, один из исторически последних вариантов этой мнемотехники выразился

1) Ницше Ф. К генеалогии морали. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 442.

в стигматизации и флагаелляции у католиков. Культурный архив, сохраняющий мировую цивилизацию, имеет другой носитель. Это уже не крик, запечатленный телесно и передающий боль. Это форма записи, которая с причинением боли непосредственно не связана, а, стало быть, растождествлена с телом и явлена в звуке осмысленной речи, в которой отношение означающего к означаемому (согласно семиологии Ф. де Соссюра) произвольно. То есть безболезненно. Когда можно утверждать возникновение текста как такового, с возможностью прочтения, интерпретации и понимания? Ритуально изувеченное тело — это не текст. Можно утверждать самостоятельное существования формации текстов с того момента, в который письмо обретает совершенно особую субстанцию-носитель, как будто бы отсложившуюся от живого страдающего тела и сделавшуюся некоторым его ближайшим, но при этом в достаточной степени отделяющимся покровом. Как если бы под кожей больше не было пульсирующего тела, откликающегося на всякое ранящее проникновение болью. Поэтому вместо крика стало возможным членораздельно говорить. Кстати, замечательное в этом контексте слово — *членораздельность*. Его семантика в равной степени отсылает как к размежеванию внутри телесности, так и к артикуляции языка. Папирус, пергамент, бумага — это субституты ближайшего к телу, но отклонившегося от него, отсложившегося покрова, органической ткани (*textus* по-латыни и обозначает «ткань»). Возникновение текстопроизводства оказывается результатом своеобразного обезболивания, забвения боли. Вовсе не случайно, что и по сей день особой ценностью и дополнительной символической нагрузкой обладают книги в кожаных переплетах, а записанные на коже, в особенности человеческой, вызывают мистический ужас и преклонение. Что же определяет новую ситуацию, когда осуществилось замещение прежнего носителя культурного архива и соответствовавшего ему типа памяти новейшим — дигитальным — носителем? Ответ самоочевиден: произошло развоплощение субстанции текстов, текстопроизводство теперь носит не материальный, а виртуальный характер. Творчество больше не связано, даже чисто символическими узами, с «мукой», будь то телесной или душевной, оно не затрагивает глубин человеческого существования, и не потому, что глубины давно сделались мелководьем, а русла духовности иссохли, а потому, что именно таково устройство нынешней культурной памяти. Это действительно навязчивое желание позабыть всякую боль, обезопасить себя от страданий или мук творчества. Анестезия здесь взаимообратима с амнезией, обезболивание — с выпадением ячеек и целых пластов памяти. Когда-то французский физиолог Пьер Флуранс выступил против применения хлороформа в качестве наркоза на том основании, что якобы этот препарат оказывает воздействие только на нейронные сети памяти, так что в действительности пациент испытывает жуткую боль во время операции, однако затем о ней просто забывает. С медицинской точки зрения эта гипотеза не нашла подтверждения, но можно предположить, что именно могло привести к подобному подозрению и где подобная логика замечательно работает. Она работает в рамках кровавых архаических мнемотехник. При нанесении ритуальных увечий и при современном хирургическом вмешательстве, несмотря на очевидное

различие целей, совершаются с телом схожие манипуляции. Во всяком случае, они нарушают целостность его поверхностного слоя и доставляют боль. Ради чего? Чтобы вылечить, спасти человека, — скажут о современной хирургии. Но и древние мнемотехники существовали не с целью убить, они обозначали инициацию, второе рождение, установление отношений с миром покровительствующих духов. Тоже в своем роде спасали. И запускали механизм запоминания, создавая первичные ячейки нестираемой коллективной памяти. Совершенно неслучайно, что открытие анестезии привело к догадке о том, что временная приостановка болевых ощущений на самом деле отключает память, является амнезией. Здесь обнаруживается сущностная взаимосвязь. Даже если от культуры тело/шрам (архаические сообщества) переместиться к позднейшей культуре текст/письмо (исторические сообщества), в которой нанесение графического знака непосредственно не связано с болью, все равно происходит возвратная регрессия к древнейшим формам. Чего стоят одни сюжеты, которыми изобилует европейская культура, о таинственных книгах, написанных кровью. Как если бы, следуя древнейшему поверью, только в такого рода текстах и могла быть *буквально* запечатлена душа их создателя.

Производство авторского текста, причем Авторского с заглавной буквы, непременно удерживает опосредованную связь с потребностью страдать, переживать боль, прилагать усилия, испытывать муку. Важно, что связь именно уже опосредованную различными способами отреагирования. Не выстраданные вещи никому не интересны, их никто не будет ценить. Инициация Автора символически совершается так же, как и архаическая практика второго, Божественного рождения. Присущее российской духовной традиции чрезмерное почитание писателей и поэтов показывает, насколько мы, в сущности, остаемся чувствительны к архаическому сознанию. Хотя виртуальное текстопроизводство, похоже, неуклонно изменяет ситуацию. Что сегодня является идеальным носителем требующей запоминания информации? Не тело, и даже не бумага, а *soft-* и *hardwares*. Что нужно сделать, чтобы запомнить? Всего лишь нажать на экране компьютера опцию, на которой написано «сохранить». С одной стороны, каждый, кто работает на компьютере, знает, насколько это удобно. Но, с другой стороны, это подкупающее удобство не должно вводить в заблуждение. Ведь ему сопутствует утрата сразу нескольких важных навыков в обращении с книгами, в общении с людьми, во владении письмом и речью. Более того, если запоминание и способ сохранения культурного архива не сопровождаются ни болью, ни усилием, тогда теряется различие существенного и никчемного, основного и второстепенного. Интернет в результате превратился в виртуальную галактику, до отказа забитую невероятным количеством визуального мусора и словесного хлама. Нет возможности установить и воспроизвести систему различий. Не воспитывается чувство, способное воспринимать фундаментальные для всякой жизнеспособной культуры оппозиции и топорсы повышенной интенсивности. Вот и выходит, что нас окружает чудовищное количество информации, но она не слишком-то нас трогает, и мы храним по отношению к ней какое-то тупое скорбное бесчувствие. Мы воспаряем

в прямом эфире тотальной коммуникации, и этот эфир символически производит тот же эффект, что и эфир, физиологически применяемый для мединской анестезии.

**А. К.:** — Это даже не скорбное бесчувствие, а наивное дремучее бесчувствие, не осознающее само себя. Это ситуация «не прихода в сознание», когда подсознательное нарастает, недоговоренность ширится, но в то же время никто не пробуждается, и мы видим сплошную череду замещений. Замещений ценностей, ради которых можно было вставать на цыпочки, теми же бесконечными рекламными клипами. Я вспомнил любопытное эссе Татьяны Толстой, посвященное Микки Маусу. Описывается довольно известный эпизод, когда американская фигуристка, которую нация чуть ли не боготворила, во время праздника национальной американской мыши, где проносили огромные надувные и плюшевые ее изображения, позволила себе сказать «fucking mouse», не сообразив, что микрофон в этот момент был включен. Она выразила глубочайшее отвращение к символу нации, и это услышали. Америка ей не простила оскорбления национальной мыши, которая всем столь мила и для всех важна. Вот он, момент «не сотвори себе кумира». Когда кумиры представляли в виде идолов, которым требовалось губы смазывать кровью, это еще было полбеде. Но когда кумирами становятся эта чудовищная мышь или дебилы вроде Бивиса и Батхеда, то, я полагаю, это гораздо хуже. Это гораздо большая степень упадка, которая тоже свидетельствует о нарастающей анестезии и отсутствии спонтанности, непосредственности, некоего момента «то ради чего». Когда, будучи вроде бы корректными, уважительными и друг другу не причиняющими боли, люди теряют самое главное, а именно — интерес к жизни, потому что ради чего все это, если просто неинтересны тебе ни ты сам, ни другие. Ладно, ну и не причиняй боли. Лучше уж тогда и не живи, ибо, как известно, страдание приводит к рождению, согласно самой первой истине Будды, которой тем самым процессы глобализации яростно подвергаются сомнению и отрицанию.

**Д. У.:** — Интересно посмотреть, где в современной социальной действительности встречается то, что можно было бы принять или выдать за ее субъекта? Где возникает этот условный, скорее уж, квазисубъект, создающий видимость сколько-нибудь осмысленного существования и активной позиции? Очевидно, что он возникает в ситуации так называемого общественного мнения, его формирования, изменения и опроса. Если вдуматься, мы имеем дело с чистой фикцией. Это уже давно подметили наиболее проницательные социологи. У Пьера Бурдьё есть небольшая статья под названием «Общественного мнения не существует». В ней Бурдьё формулирует три допущения, неосмотрительно принимаемые теми, кто считает все эти бесчисленные опросы хоть сколько-нибудь заслуживающими внимания. Первое допущение состоит в том, что якобы у каждого индивида есть мнение. Второе допущение — даже если у каждого индивида есть мнение, то якобы все мнения равноценны. И третье — даже если они равноценны, то якобы каждого индивида устраивают заранее предложенные варианты



ответа. Дело касается случайного попадания в общий фоновый резонанс, волнообразно распространяющийся в анонимной среде остаточной социальности. Сфера мнимости неуклонно расширяется. Все делают вид, что способны рассуждать на самые разнообразные темы, а тот, кто вдруг признается, что вовсе никакого мнения по интересующему общественность вопросу не имеет, удостоивается разве что презрительного взгляда. Хотя обыкновенный здравый смысл подсказывает, что положение вещей должно обстоять прямо обратным образом. Лучше не иметь мнения. Нельзя быть озабоченным всеми общечеловеческими проблемами, тем более когда не можешь разрешить своих собственных. Невозможно иметь мнение по любому поводу. Если же такое полагается возможным и даже необходимым, то речь идет о громадной фальсификации отклика, представляющего в действительности эхо-эффект распространяемых средствами масс-медиа волн, — результат их искривления в плотных слоях *das Man*. Создается хитроумная видимость того, что еще существует хоть какая-то активность в массах, что у них есть свои интересы, что они еще способны реагировать на события, а не только потреблять товары и поглощать иерархические различия. Стоит ли говорить, что это *только* видимость? Причем видимость, которая для размытого социального квазисубъекта очерчивает зону его радикального самонеузнавания, не визуализируемую «скотому». Распалась на атомарные частицы инстанция, которая могла бы отвечать за точность, достоверность и определенность того, как общественное мнение отображается в своих зеркалах. Последней из таких инстанций выступало *Dasein*, но в современных социальных отношениях фигурируют почти одни только «Dasein-Ersatz'ы». Сообщества эпохи модерна формировались на основе опрашивания о подлинности составляющих его индивидов, — скажем, о подлинности классовой принадлежности или подлинности арийского происхождения. Общество постмодернистского типа, опрашивая своих членов и создавая общественное мнение, ко всякой подлинности относится крайне подозрительно, ее страшится и избегает. В этом отношении один из основных демократических институтов зиждется на превратном способе социальной идентификации.

**Т. М.:** — Часто слышу от наших православных людей о том, что западный (преимущественно католический) мир страстен, напитан чрезмерной чувственностью, импульсивностью. В отличие от мира восточно-христианского, православного, который, согласно расхожему культурному стереотипу, склонен к пассивности и созерцательности. Подобные шаблоны давно уже не соответствуют действительности. Именно прямая чувственность и непосредственные переживания стали на Западе существенной проблемой. На них просто не хватает энергии. Всеобщая апатия, нет сил ни на добродетель, ни на грех. Понятие греха отпало за ненадобностью не вследствие ханжества или трусости, а по причине глубокого упадка сил. Маркс в своем «Манифесте» писал о холодных водах цинизма — эти воды уже пришли, загасив последние искры душевного огня и чувственной страсти. Многие авторы сравнивают переживаемое нами сейчас время с кон-

цом эллинизма. Христиан преследовали не за то, что они не поклонялись общегосударственному пантеону, а потому, что не воздавали должные почести императору. Это похоже на нашу эпоху, с той разницей, что функцию императора нынешнего мира исполняет капитал. Он требует себе поклонения и постоянных жертвоприношений, будь то в Югославии или Ираке, хотя больше не имеет за собой никакой предметной субстанции. Какую бы сферу жизни мы ни взяли — экономику, образование, религию, — все подчинено виртуальному капиталу. Мы живем в мире, похожем на умирающий Рим, а глобализация обнаруживает фиктивность нашего бытия. Мы поклоняемся фикции, сделавшейся нашим богом, придерживаемся фиктивных ценностей. Нельзя просто отрицать глобализацию. Она нас уже определяет. Нужно ее продумать.

**А. К.:** — Обращает на себя внимание понятие занятости, которое является одним из ключевых в современной макроэкономике и социальной политике. Все борются за занятость населения и вроде бы добиваются каких-то успехов. Однако занятость как нужность и востребованность — это одно, но есть занятость и в другом смысле, когда, например, мы подходим к столику в кафе, за которым сидит один человек, и спрашиваем: «Эти места заняты?» «Да, заняты», — следует ответ. Но на других местах вроде бы никого нет. Это тоже форма занятости, которая на самом деле абсолютно преобладает. Если мы пристальнее всмотримся в структуру занятости, то увидим симулякр абсолютной пустоты. Вроде бы какими-то делами занимаются, то ли продукцию производят, то ли обслуживают нужды виртуального капитала, но на самом деле это абсолютно условная занятость. Как ребенок из сказки Андерсена мог сказать, что король голый, так и мы понимаем, что большинство мест пустует, кругом сплошная пустота, занятая разве что, как сказал бы Декарт, манекенами. Отсюда страх подставиться, страх того, что где-то ты окажешься занят по-настоящему, в какой-нибудь даже не обязательно кровавой разборке, а хотя бы в разговоре по существу. Почему носители современной цивилизации пытаются избегать этого всеми силами? Если Фрейд полагал, что, быть может, разверзнется бездна со страшными грехами, со скрытыми чудовищными бессознательными помыслами, то этого можно было опасаться. С тех пор опасения еще более возросли, но уже по противоположной причине. Обнаруживается, что предполагавшиеся занятыми места на самом деле пусты. Выступила пустота, никомуненужность, из которой мучительно хочется найти выход, но как найти выход? В результате появляется героизация на пустом месте, когда типичнейший бюргер, представитель, конечно же, не среднего класса, а паразитарного плебса, теперь ставшего народом как таковым, изо всех сил решает свои проблемы. Но какие это проблемы? Мне приходят на память два сюжета. Я недавно слышал по телевидению замечательную рекламную фразу, которая звучала: «Прощайте, шесть признаков нездоровых волос». Вот гениальный символ эпохи. Мы избавились от проблем, проявили героизм, победив сухость и перхоть. Прощайте, шесть признаков нездоровых волос, я больше вас знать не знаю. Разве это не героизм? Конечно, это уже не Павка Корчагин и

не герой вестерна. Подобными героями являются знаменитые Бивис и Батхэд, два дебила, главные персонажи современной эпохи. Я припоминаю один связанный с ними телесюжет, умиливший меня до глубины души, ибо он моделирует сверхпроблему, которую ставит перед собой и решает современная глобальная цивилизация. Сюжет начинается с того, что у одного из этих дебилов болит живот, увеличиваясь в размерах и наталкивая на мысль о беременности. Персонаж начинает советоваться по этому поводу, ему рассказывают, как нужно вести себя беременным, что им следует делать. Но интрига разрешается тем, что, оказывается, ему просто хотелось в туалет. Хэппи-энд наступил, когда стало понятно, чем на самом деле он озабочен. Не беременностью, а тем, что нужно вовремя сходить в отхожее место. Это один к одному то, чем озабочена современная глобальная цивилизация, то, какую великую проблему она решает. Пресловутая героизация повседневности есть символ абсолютной субфильтрации и замены проблем, уже просто утративших всякую человекообразность по отношению к нынешней плюшевой эпохе, проблемами Бивиса и Батхэда и других рекламных героев.

## Беседа 2. Проникновенные объятия масс-медиа

**Т. М.:** — Не вызывает сомнений, что процессы глобализации находятся в теснейшей связи с развитием средств массовой информации. Количество информации возрастает в геометрической прогрессии, — по большей части это бесполезный и бессмысленный сор, не добавляющий ни знания, ни понимания. Происходит своеобразное зомбирование людей, возникает эффект Диснейленда, когда любое событие существенно лишь постольку, поскольку сделалось частью развлечения или, по крайней мере, яркого захватывающего зрелища. М. Айзнер, президент *Walt Disney Company*, утверждал, что их компания дарит людям развлечения, которые представляют максимум возможностей для того, чтобы все индивидуальности и особые интересы получили свое удовлетворение. В действительности дела обстоят в точности до наоборот. Мы имеем сейчас ориентированный на производство зрелища мир, проходящий через абсолютно монотонный, тусклый фон. Звучит один и тот же незатейливый мотив, но люди почему-то им увлечены. Его постоянное воспроизведение никого не утомляет. Маршалл Маклюэн справедливо отмечал, что мир превратился в глобальную деревню. Все меньше разнообразия, — цивилизационных, культурных и просто человеческих различий. А ведь именно они делают людей непохожими друг на друга и интересными друг другу. Кругом монотонное, inferнальное звучание однообразного напева. Мир неуклонно переходит от неолиберализма к тоталитарному либерализму, — фактически к новому тоталитаризму. Это совершенно ясно. Пересекать границы становится гораздо более трудно, чем несколько лет тому назад. Авиаперелеты дорожают, число авиакатастроф на постоянно высоком уровне. Условное единство мира возникает главным образом в пространстве тотальной коммуникации. Но и

здесь все не так однозначно. Десять самых богатых предпринимателей Германии оплачивают одну четверть всех рекламных роликов в стране. 90 секунд рекламы равняются стоимости среднебюджетного художественного фильма. Вездесущая реклама страшна своей агрессивностью и тем, что на нее не существует ответа. Ответ в данном случае — это действенное сопротивление рекламе, нежелание поддаваться ее бесконечному рефрену. Телевидение, зомбирующее людей, рассматривает мир горизонтально. Нет ценностной вертикали, отсутствует иерархия. Какое бы событие ни случилось — убийство, катастрофа самолета, открытие выставки, показ мод, встреча на высшем уровне, — оно попадает в имманентную, одноуровневую разметку новостной ленты. Как будто бы нет иерархического состояния вещей. Это ужасает, потому что возможна либо порнография, либо иерархия. И получается, что телевидение все превращает в сплошную порнографию.

**А. К.:** — Я хотел бы продолжить мысли, высказанные Татьяной, поскольку они требуют определенного развития. Меня здесь особенно интересует и удивляет то, что одноуровневость, отсутствие иерархии полагает себя чем-то в высшей степени рациональным. Как если бы расколдовывание мира, о котором говорил Макс Вебер, совершилось, и не только исчезли светлые эльфы и мелкие бесы, но и все следы присутствия Бога. Осталось рассчитанное рэцио, понятное и объяснимое на пальцах. Чуть ли не ясное и отчетливое в смысле Декарта. Парадокс в том, что (мне кажется, это можно очень легко показать) эта рациональность по своей природе гораздо более мистична и чудовищна, чем та иерархия ценностей, которая была ею вытеснена и уничтожена. Новые кумиры, наподобие Микки Мауса, по сути дела, выполняют функции свергнутых богов. Возьмем рекламу. Казалось бы, что может быть проще, примитивнее и понятнее, чем реклама? Желание сбыть свой товар, которое является абсолютно меркантильным, не имеющим к мистике никакого отношения. Но это только на первый взгляд. Мы знаем из исследований социологов, что реклама никогда не ускоряет продажу никакого отдельного товара и не способствует ей. Это все прекрасно понимают. Большинство людей только посмеиваются над Даноном или мылом Дуру, а покупают что-то другое. Рекламные компании в мире — это целый океан, они возрастают с каждым годом. Здесь явно есть нечто мистическое. Почему, возникает вопрос. Почему, если ни один конкретный товар фактически лучше не продается, компании мира платят странный добровольный налог на рекламу, причем совершенно гигантский, сопоставимый с бюджетами голливудских фильмов, а иногда превосходящий стоимость партии товаров вообще? Что происходит в мире рекламных роликов? В нем происходит удивительная вещь. Хотя призывы купить тот или иной товар или услугу оказываются тщетными, но зато реклама встраивается в нашу повседневность, — в ее фон, в анекдоты, пародии. Она становится предметом межличностной коммуникации. Рекламный ролик или рекламный щит выступают основанием для возможной шутки, чаще всего пошлой, но пошлости и являются в наше время расхожей монетой общения, когда прочие жанры распались. Если раньше букварь начинался со слов

«Мама мыла раму», то теперь они пародируются оборотами вроде «Мама мыла дуру мылом Дуру» или «Мама ела Раму». Даже на уровне букваря, на уровне того, как воспитываются дети и подростки, возникает сверхмощная логоинъекция. Только вместо самих производных логоса здесь какие-то странные немыслимые производные вторичного вещного слова. Поле рекламы, рекламных роликов, плакатов и рекламного эфира мистично и иррационально — это форма самопрезентации каких-нибудь Данона или Пепси-колы. Никакой конкретной выгоды это поле не приносит, но товары стараются предстать в нем просто во имя ни для кого необъяснимого и страшно иррационального призыва служить некоему новому богу. Один из любопытных медиа-проектов посвящен самозарождению бога Юксты. Это некий самозародившийся бог, возникший потому, что переполнилась критическая масса струящихся сообщений. Если мы, находясь даже в пустыне, где кругом нет ни малейшего следа присутствия человека, высунем вверх антенну, она сможет уловить все каналы мира. Небеса уже переполнены, они давным-давно гораздо более заселены, чем собственно земная твердь. И вот из критической массы переполненности паразитарными потоками сообщений самозарождается некий бог, у которого оказываются свои преданные служители. Они делают вид, что их служение носит меркантильный характер, что оно необходимо для продажи какого-то туалетного мыла. Но ничего и близкого к этому нет, — фактически клипмейкер или медиа-правитель является распорядителем самого бытия. Достаточно вспомнить всем прекрасно знакомую ситуацию, когда мы включаем телевизор и видим, что рассуждают политики, сенаторы, иногда и президенты, но телеведущий говорит: «А сейчас мы прервемся на рекламную паузу». И все вынуждены остановиться и просмотреть рекламный ролик про кефир Данон или мыло Дуру, потому что это важнее, это литургия неведомому самозародившемуся богу. Получается, что программа передач важнее конституции страны, ибо рекламный ролик в состоянии прервать речь любого политика. Разве это не сверхиррациональная форма служения новому культу? Это явно превосходит всякую возможную человекообразность. Кто, собственно говоря, субъекты этой власти? Можно называть их олигархами, трансатлантистами, придумывать какие-то новые ярлыки, но фактически мы не встречаем ни одного человекообразного существа. Ницше говорил о том, что празднества изначально были созданы как фестивали для богов. Это заслуживает существенного рассмотрения: за фасадом рациональности скрывается иррациональность, и не снившаяся Средневековью. В ней огромное количество вторичного безумия, в котором никто не желает отдавать себе отчет. Отвергнув иерархию небесных светил или inferнальных глубин, мы все равно оказались в иррациональном пространстве динозавриков, бэтманов, данонов, гораздо более безумном по составляющим и не имеющим к рациональности никакого отношения. Но именно оно является новой зарождающейся религией глобализации.

**Д. У.:** — Возникает далеко не беспочвенное подозрение, что в сетях тотальной коммуникации самозародился новый, никому неведомый бог, наде-

ленный гипертрофированным органом самоудовлетворения, — Нарцисс-монстр, Нарцисс-паук, затаившийся у края сплетаемой им всемирной паутины. Можно так говорить постольку, поскольку информационное пространство устроено чисто мифологическим образом. Мы слушаем выпуски новостей приблизительно так же, как в древние времена люди слушали и пересказывали мифы. На первый взгляд, вещи вроде бы противоположные: достоинство мифа в его древности, в том, что его толстым слоем покрывает пыль времен, новость же ценна, только пока она сопровождается эпитетом «горячая», «свежая», «последняя». Самое страшное для новости — устареть еще до сообщения, для мифа — оказаться заподозренным в новизне, в новоявленности. Можно дальше констатировать эти самоочевидные различия, однако значительно интересней контекст, где между ними обнаруживается сходство. Хотя в фактическом смысле нам каждый день действительно рассказывают что-то новое, но воспринимаются новости как возобновление отложенного рассказа. Мы начинаем слушать с того места, на котором остановились накануне, ожидаем продолжения прерванного повествования. Я полагаю, что психологически дело обстоит именно так. А структурно все еще хуже, название «новости» на этом уровне способно вызвать лишь усмешку. Если вчера упал самолет, и месяц назад упал самолет, и год назад тоже, то где здесь, вообще говоря, *место* для новости? Это вовсе не означает, что не было трагических событий, что ничего нового не произошло, однако вписывание событийной линии в ленту новостей, ферментирование событийности кодами масс-медиа производит ее дереализацию, замыкание на воспроизводство этих кодов. Реальность фактов уходит на второй план. Формат новостной ленты представляет собой одну из наиболее жестких структур повторения. Если мы выделяем три уровня — фактический (содержание новостей), психологический (то, как мы воспринимаем новости) и структурный (то, как новости устроены), — то сейчас мы говорим о третьем уровне. Здесь мы изо дня в день слышим одно и то же, попадаем в одну и ту же разметку новостной ленты, состоящей из ограниченного числа символических ячеек. Все фактическое содержание, претендующее на новизну, прекрасно встраивается в устойчивую систему легко распознаваемых кодов — «политическое событие», «природный катаклизм», «международный конфликт», «репортаж из глубинки», «светская хроника» и т. д. Это и есть пустые мифологические окна масс-медиального интерфейса, которые могут быть заполнены любым содержанием, подобно тому как скульптор заливает материал в заранее приготовленную форму. Сырой материал фактичности предварительно должен быть тщательно просеян, отобран и заключен в сохраняющий свое постоянство символический порядок. Это чисто мифологическая структура потому, что на самом деле она не знает и не передает ничего *сущностно нового*. Мимолетные события быстро забываются, остается непрерывное повествование, рассказываемое миру, улаждающий рефрен Шахерезады. Начало и конец новостной ленты склеены, образуя фигуру некоторого коловращения. Если вспомнить советское время, то мифологический круг его информационного поля был устроен иначе. Новостями выступали сводки с колхозных полей, производственные



успехи, признаки процветания стран социалистического лагеря и загнивания стран капиталистических и т. п. Однако опрометчиво полагать, что такой круг оказывался «менее объективным» или «более лживым». Миф, пусть сколь угодно идеологический, не бывает ни объективен, ни лжив. Он обнаруживает свою иллюзорность и смехотворность, только когда повержены превозносимые им боги. В противном случае он продолжает занимать место единственной подлинной реальности: реальности имени, называния. Что из бесконечного мельтешения происходящего достойно нестираемого имени? Не имеет особого значения, какого именно. Черное со временем может оказаться белым, то, что принималось за добро, — злом, просветление может обернуться одержимостью, но они уже сделались неотъемлемой частью большого повествования, а потому не будут забыты. Не будут забыты до тех пор, пока не сменятся поколения богов, после чего бывшие мифы продолжат нести только чисто символическое значение. Подобно мифам советской эпохи, которые можно отыгрывать, использовать в новейших политических инсталляциях, делать предметом ностальгии, но нельзя поставить на место того, что ныне считается реальностью.

Приходится признать, что вновь сменились поколения властвующих богов и ныне миром правит какой-то новый, пока нам неведомый бог из машины. Конституируемая им виртуальная реальность стала основной реальностью нашего мира. Она вытеснила в топос неотслеживаемого, скотомизированного сущего реальность иного типа — реальность *Dasein*, аутентичного присутствия, для которого коммуницирование и *бытие-online* всегда являлось принципиально вторичным, несuverенным и несобственным. Эту последнюю новый бог уж точно не благословил, ему милее расклад, избегающий главных оппозиций существующего. Ему нравятся вещи, лишенные своих субстанциальных, зачастую связанных с опасностью свойств, — виртуальный секс, бесконтактная война, продукты без основного ингредиента (безалкогольные пиво и вино, кофе без кофеина, обезжиренное молоко, соевое мясо, заменители сахара и соли, облегченные сигареты и т. д.). В конечном счете, универсальный заменитель, освобождающий от бремени вещественной полновесности, исполняет роль прежней субстанции. Тотальная подмена сделалась конститутивным актом, благодаря которому ни вещи, ни люди больше не находятся на своих местах. Они только делают вид, что на них находятся. Главное — успешно создать видимость, пустую репрезентирующую форму, а что в ней будет предъявляться и будет ли, — не важно. Ничего не будет. Мы нередко встречаем продукты *со вкусом* мяса или сыра, но без содержания натурального мяса или сыра. А почему бы не представить себе, что искусственным путем создается, например, *вкус к жизни*, и уже не надо рисковать и прилагать усилия, чтобы жить настоящей жизнью, что-то создавать, о чем-то думать, чем-то жертвовать, а достаточно съесть пилюлю, чтобы испытать полноту ощущений? Очевидно, что нарастающая череда опустошающих подмен движется именно в этом направлении. И наркотики не являются единственным ускорителем, — každодневная доза «прямого эфира» средств массовой информации постепенно создает ничуть не меньшую зависимость, в ничуть не меньшей степени

подменяет реальность коварным «примыслом» грез. По-видимому, первая проба здесь оказывается решающей точно в такой же мере, в какой и в случае привыкания к наркотикам. Идеальная новость должна включать в код своего сообщения автодеструктивное наслаждение тем, что снова и снова повторяется единожды случившееся первособытие. Мы наблюдаем, как страшный пожар в детском доме вызывает целую новостную эпидемию схожих пожаров, но не потому, что такова фактичность, а потому, что такова структура повторения, выстраивающая пеструю событийность согласно непрерывному мифологическому нарративу. Причем событийность главным образом катастрофическую. Мы подключаемся к одному из каналов, где нам рассказывают, что за последние дни произошли такие-то и такие-то трагические происшествия, столько-то людей погибло, как в приснопамятной программе «Катастрофы недели». Но мы не испытываем персональной боли, более того, мы одержимы голосами с экрана, как будто это голоса одиссеевских сирен. Не важно, о чем именно идет речь, о падении самолета или об открытии очередного вернисажа, главное — всегда быть в курсе, даже если не мы избираем курс и не можем его сменить, прислушавшись к какому-то другому голосу. Пусть хоть весь мир обрушится на наших глазах, мы будем видеть ту же самую картинку, сохраняя позицию зрителя, парящего в тотально пронизываемом прямом эфире. Наряду с достаточно фиксированными масс-медиальными ячейками возникают и временные окна. Они не обладают долгоиграющим символическим ресурсом, а потому быстро утрачивают к себе интерес и затягиваются нейтральной пленкой, ослабляющей эффект резонанса. Значение происходящего корректируется по критерию попадания или исключения из вторично мифологического пространства масс-медиа. Единичное, эпифаническое из него вытесняется сразу. Остаются мотивы, способные быть самовоспроизводящимся рефреном, создавать гипнотический ритм, которому мы непроизвольно повинемся, желая того или нет. По сути говоря, так называемое «массовое сознание» и есть сознание, опосредующее этот ритм, во всем ему подчиняющееся, видящее в нем чуть ли не молитвенное заклинание, обращенное к новому богу.

**Т. М.:** — Много говорится о том, что свойства масс изменились с тех пор, когда о них писал, скажем, Ортега-и-Гассет. Основная проблема состоит в том, что массы давно не причастны ни к какой идеологии, их не зажигают политические лозунги и идеи. Их эфемерное существование зависит от степени комфорта и благополучия, которые должны поддерживаться на определенном уровне во что бы то ни стало. Перепутаны ценности. В свое время новоевропейское сознание, благодаря картезианскому исходному пункту мышления, было обусловлено идеей радикального сомнения — вплоть до сомнения в бытии Бога. Позднее благодаря Канту сформировалось критическое воззрение на мир. В наше время все позитивные моменты, содержащиеся в этом оформившем неповторимый интеллектуальный облик Европы способе мышления, рассеялись без следа. В сухом остатке — отсутствие как уверенности, так и веры. Подавляющая часть западных людей озабочена приобретением страховки, отслеживанием различных видов

страхования. Последний способ обрести уверенность в этой жизни, найти в ней более или менее прочные основания. От картезианского методического сомнения к неуверенности и всеобщему страхованию — такой вот странный путь. При этом я хотела бы еще отметить, что исчезновение идеологии в решающей степени связано со скоростью протекающих в мире изменений. Зерна новых микроидеологий просто не успевают вызреть и взойти. Процессы происходят быстро, легко и поверхностно, не оставляя ничего в голове. Можно было бы представить, как через пустые головы проносятся целые полчища бесов и некоторые бесы в них оседают, а некоторые пролетают мимо. И очень быстро пролетают. Святые отцы говорили, что бесы быстры, но не легки: дух тяжести тянет их осесть. Иначе говоря, быстрые изменения подчеркивают неподвижность — все остается на своих местах.

**А. К.:** — Это действительно так. Относительно психоанализа было сказано, что, в известном смысле, причина его возникновения в том, что исчезла необходимость изгнания дьявола, а приходилось иметь дело только с мелкими бесами. Если так можно было говорить об Австрийской империи конца XIX – начала XX века, то каков же размер этих бесов сейчас? Очевидно, они еще более измельчали и представляют собой что-то эфемерное. Это призраки третьей степени, потому что ни к чему большему нынешняя плоская душа не восприимчива. Все горние вопросы звучат как «кимвал бряцающий» — нет резонатора, в котором они могли бы откликнуться. Если сама протестантская церковь — это по большей части организованное шоу Иисуса, как заметил Бодрийяр, то мы видим, что в этом шоу значимы только мелкие бесы. И здесь — Татьяна совершенно права — скрывается природа власти Голливуда и природа медиакратии вообще, со своими жрецами — телеведущими, клипмейкерами и т. д. Эти жрецы честны в том плане, что они действительно не знают, какому богу служат. Они знают, что он превыше их, но как выглядит даже иконический образ этого бога, никому неизвестно. А служить — служат, еще и как! Что при этом происходит? Почему мы вправе сказать, что степень тоталитаризма, обретенная современным Западом, несравненно выше и, главное, эффективнее, чем у классического тоталитаризма, который мы привыкли критиковать? А приведите аргумент «за». Аргумент очень простой, я полагаю. Он состоит в том, что если угнетение и отсутствует, то лишь потому, что оно и не требуется, поскольку гнет — это метафора тяжести, которая пытается перевести многомерность в одномерность, нечто расплющить. Но что плющить, когда все уже и так на одной плоскости? Современный тоталитаризм не нуждается в угнетении, поскольку он имеет дело с одномерными или, в лучшем случае, двухмерными существами, которые озабочены вовсе не тем, чтобы душу свою спасти, а разве что тем, чтобы поучаствовать в шоу Иисуса. Или избавиться от шести признаков нездоровых волос, или контролировать свои потовые железы, или попробовать настоящую марку кефира. Если ты ее попробовал, то да, ты вписался в эту цивилизацию. Если нет, то извини, тебя как будто бы и не было в этом мире.

Предельное измельчание и отсутствие гнета именно потому, что давить больше некуда. Гнет времени тоже исчезает, ибо, как справедливо заметил Вирильо, произошла полная экстемпорация, перерождение внутренних времен в счетное линейное время, которое поддерживает манию успеха и преуспеяния. Новая религия глобализации в высшей степени эффективна, но в то же время является по своим последствиям чудовищной. Сохраняя комфорт, приумножая блага цивилизации, она производит сжатие внутреннего мира в точку. Происходит формирование мира, в котором апостолами являются два дебила — Бивис и Батхэд. Поневоле начинаешь испытывать сочувствие даже к террористам, которые пытаются отстаивать хоть какие-то духовные ценности. Пусть их называют варварами, — как же так, сочли, что есть нечто более важное, чем человеческая жизнь. Хотя мы знаем, что мир, который считает, что нет ничего важнее человеческой жизни, эту жизнь не сохранит или не сохранит ее в достойном виде. Вся история гражданского общества об этом свидетельствует. Не остаются безнаказанными рекламные ролики — мы над ними смеемся, но каждый представляет собой ту самую каплю яда, которая, методично накапливаясь, образует критическую разрушающую массу. И жрецы медиакратии, служа своему неведомому богу, оказываются гораздо более эффективными проводниками его странной, нечеловечески размерной воли, чем проводники традиционных религий, из которых пока только ислам пытается себя защитить от сравнивающей все вершины человеческих ценностей волны. На самом деле, с точки зрения духовного наследия, мало что может быть страшнее, чем волна тотального дебилизма с великолепным видеорядом. Среди исчезающих или становящихся все менее и менее достоверными модусов бытия следует вспомнить идею праздности, идею самодостаточности, реализованную в своем праве «быть так». Праздник и праздность — вещи связанные, но их судьба в сегодняшний день очень характерна.

Праздник, начиная с древнейших оргиастических обрядов, был предельно демократичным. Таким он остается и по сей день. Раньше он обновлял единство тела социума; современные остаточные праздники, наподобие пивных фестивалей или футбольных чемпионатов, так или иначе эту разметку производят. Тогда как праздность предельно аристократична и предполагает умение довольствоваться самим собой и выстраивать свое свободное время — то, чего мир лишился напрочь. Именно искусство праздности утрачено — на смену ему пришла непрерывная лихорадочная озабоченность, стремление вписаться в график расписаний удовольствия, посетить все привычные туристические маршруты. И даже если какой-нибудь немец выезжает на шашлычок, то он покупает специально упакованные дровишки в полиэтиленовой упаковке, специальный соус, а если вдруг пожелает половить рыбку, то, понятно, приобретает лицензию на определенное количество хвостов. Эта тотальная регламентация, дальше которой угнетать некуда, ибо не осталось даже остаточного встречного сопротивления, знаменует собой торжество тоталитаризма, торжество этого странного, неведомого и пока еще безымянного бога и жрецов медиакратии, которые сейчас и являются сильными мира сего. «Богово» в этом

понимании намного превосходит «кесарево». Все политические игры оказываются неким отвлекающим маневром, не позволяющим задуматься, а что же, собственно, творится с нами, с нашими душами? И, когда политические игры прерываются на рекламу, мы понимаем, что наступает самое главное время, непосредственно транслирующее то, что теперь выступает заменителем истины, заменителем веры, действительно всеобщим эрзацем и духовным полуфабрикатом, к тому же объявляющимся чем-то в высшей степени корректным, гуманистическим и достойным человека. То, чего не удалось достигнуть с помощью насилия и войн, оказалось странным образом достигнуто в прогрессии расфокусирования измельчавшего принципа наслаждения. И то, чего не удалось сделать Люциферу в его первоначально сатанинском обличье, прекрасно удалось мелким и даже мельчайшим бесам, деятельность которых многократно эффективней, чем деятельность врага человека номер один.

Д. У.: — Я хотел бы продолжить размышления Татьяны по поводу страха, который в своей прямой, невротической форме подавляется в жизни современного человека, но происходит это за счет избыточных доз успокоительных средств социальной психотерапии. Это приведение к пониженному порогу чувствительности. Подписать страховку — значит отыграть (*acting out*) на чужом, общезначимом поле свою неуверенность, неавтономность, подвешенность в мире. Перед нами совершенный аналог индульгенции (это к многочисленным разговорам о «новом средневековье»). И в том, и в другом случае мы платим выкуп за свое неизбежное будущее, надеясь, что по самому последнему счету, который предъявит Бог, мир или неизвестно кто, можно начинать выплачивать заранее взятый кредит. Разница лишь в том, что в первом случае мы полагаем, что уже держим за пуговицу *ту* жизнь, а во втором — что *эту*. Несмотря на то, что страх тем самым конвертируется и попадает в отношения обмена, он не уходит с горизонта живой экзистенции. Институализируя себя, он и заявляет о своем новом воцарении в человеческих душах. Немецкое слово *Angst*, *страх* этимологически родственно латинскому *angustia*, *теснота*, *скудность*. На этот факт обратил внимание О. Пеггелер. Экзистенциально нас утрачивает ровно то же самое, что и теснит нас в нашем бытии, что сужает наши горизонты, что делает безысходным любой путь, что наваливается всей своей тяжестью и перехватывает дыхание. Это то, благодаря чему сворачиваются глубины человеческого духа, закупориваются бездонные пропасти, сравниваются заоблачные вершины, и, кроме всего прочего, это то, что превращает жизнь в бессмысленную череду будней, в серую и тусклую обыденность. Страх обедняет не предрешенный в своем окончательном раскладе разброс экзистенциальных граней человеческого бытия. В контексте немецкого понятия *Angst* он является даже не столько страхом перед наличной опасностью (*Realangst* в психоаналитической терминологии Фрейда), сколько имплицитно-репрессивной формой того, что можно было бы назвать *тоской до жутки*, до схлопывания всех широт и глубин. Повсеместное распространение страховки, будучи симптомом нарастающей экзистенциальной

клаустрофобии, знаменует окончательную капитуляцию лучших из возможных миров. Тех миров, которые мы творим, проживая разбегающиеся модусы собственного бытия; в которые мы входим, рискуя испытать нечто сверх наших обыкновенных возможностей; которые обнаруживаем в моменты перешагивания пределов, очерчивающих пугливое, малодушное «я». Мы имеем дело со значимым симптомом исчезновения трансценденции, вышагивания за свои пределы как подлинной сущности человека. Нельзя не согласиться с выводом Бодрийяра: «Сегодня больше не существует трансценденции, вместо нее — имманентная поверхность для протекания операций, гладкая операциональная поверхность коммуникации»<sup>2)</sup>. Ключевым словом этой формулировки является прилагательное «гладкая». Сравнение всех углов — политкорректность, избегание противоречий, толерантность. Сглаживание любых различий — расовых, национальных, религиозных, половых. Выправление изгибов, складок, завитков — все может стать частью яркого шоу, привлекательной картинкой, красивой оберткой, без обратной стороны, сокрытости или тайны. Даже тайна сделалась лишь визуальным эффектом. Показать можно все, больше не существует обратной стороны Луны, как не существует деликатного взгляда, понимающего, что на некоторые — самые важные в жизни — вещи следует взирать с почтением и на известном отдалении. Вновь является актуальным пафос дистанции — как прямая альтернатива порнографическому взгляду в упор. Мы ведь не только с людьми обычно встречаемся лицом к лицу (*face a face*), но и с вещами тоже (не в этом ли основной пафос Левинаса?). Подобно тому, как пристальный взгляд в упор вызывает в нас моментальное стремление уклониться, обозначить недоступный для другого горизонт и укрыться за ним, так и вещи ускользают, если к ним слишком приближаются те, кто повинуется превратно истолкованному девизу «назад к самим вещам». Будто улитка, чуть что втягивающаяся в свой домик, они прячутся за недостижимыми стенами «дома бытия». Полагая, что феноменальная данность вещей сделалась чем-то «гладким», превратилась в ровную имманентную поверхность для наших бездумных манипуляций, необходимо учитывать содержащийся здесь *эффект-порно* в качестве смысла исчезновения трансценденции.

**А. К.:** — Даниэль, ты цитируешь Бодрийяра об отсутствии трансценденции. Может быть, точнее было бы сказать о том, что сама трансценденция, будучи внезапным «прерывом» имманентности, оказалась другой — похожей на намокший картон, в котором вдруг проткнули нарисованные небеса, или на калейдоскоп, где за красивыми узорами обнаруживаются необработанные стеклышки. И страх перед страшной трансценденцией заставляет нас предположить, что пусть лучше ее не будет вообще.

**Д. У.:** Да, просто сказать, что трансценденция отсутствует — значит сказать слишком много или слишком мало, потому что сразу возникает вопрос: в каком смысле? Это как если бы мы в ясный солнечный день взирали на мир и прекрасно бы видели, что существует граница, дальше которой нам

2) Baudrillard J. Die fatalen Strategien. München, 1985. S. 79.



не заглянуть, — линия горизонта, место встречи земли и неба. Мы бы при этом знали, что существует нечто и по ту сторону горизонта, просто наши способности не позволяют нам его достичь, сколь бы мы к нему ни приближались. А потом внезапно спустился бы туман, и мы бы утратили *ясное* и *отчетливое* (в смысле Декарта) начало нашего восприятия. Однако мы бы опрометчиво решили, что сам трансцендирующий горизонт внезапно куда-то делся, что мир утратил глубину контрастов, фундаментальность оппозиций и несводимость различий, сделавшись чем-то серым, тусклым и непроясненным. Другими словами, дело вовсе не в отсутствии трансценденции *в принципе*, а в повышенной концентрации фантазматических частиц, застилающих взор плотной пеленой, из-за которой мы ничего не можем ясно рассмотреть. Мы вновь остаемся стоять с широко закрытыми глазами, наблюдая причудливые превращения фантазматического фона, проживая снова и снова «стадию видео» и никак не выбираясь из этого призрачного круга. Подобно тому, как ясность подчас является формой абсолютного тумана, так и транспарентность, о которой, в частности, толкует Бодрийяр, представляется формой некой полнейшей непроницаемости — невозможности рассеять фантазматический фон и обнаружить принцип реального, если использовать твои, Александр, образы, как необработанные стеклышки в калейдоскопе или как то, что проступает из-под разрывов намочшего картона. Иначе говоря, как сырой, неоформленный и неприглаженный материал, проносящийся в гуще жизненномировых потоков. Подобная форма полной непроницаемости является, по всей видимости, одним из первых определений нового безымянного бога, о котором мы рассуждаем.

**А. К.:** — Можно ли сказать, что если атрибут сокрытости и невидимости всегда приписывается богу, в том числе Богу Авраама, Исаака и Иакова, то новый бог как минимум вдвойне усиливает важность этого атрибута? Это должна быть сверхневидимость, невозможность представить его даже иконически — как некоего целесообразного субъекта, — ибо его лик будет воистину ужасен. Тут даже горящие кустики не помогут.

**Д. У.:** — По-моему, это нечто иное в сравнении с неизобразимостью Бога в иудаизме или исламе. Первые христиане, еще находившиеся под сильнейшим влиянием иудейской традиции, как известно, не имели иконографии Христа. Его изображали или в виде рыбы (визуальная форма аббревиатуры ΙΧΘΥΣ), или в образе доброго пастыря. Эти изображения, несмотря на сохранявшееся господство принципа неизобразимости, были вполне иконичными. В случае нового бога мы не наблюдаем даже подобного зарождающегося символического ряда. Но почему он не являет себя? Быть может, потому, что вовсе и не обладает атрибутом сокрытости, когда сверхневидимость оказывается лишь свойством гиперочевидности. Это точно такой же атрибут двойной сокрытости, какой мы могли бы приписать похищенному письму из знаменитого рассказа Эдгара По, — вдвойне невидимо то, что находится на самом виду. Здесь возникает очень интересная проблема, касающаяся феноменологии зрения: как можно *в принципе* не увидеть того, что и не думало прятаться, чему атрибут сокрытости не при-

сущ ни в каком отношении? Почему требуется хотя бы знак потаенности, чтобы стало возможно само про-явление, в некотором даже фотографическом смысле этого слова? Ведь воспринимающая человеческая душа светочувствительна именно постольку, поскольку как бы не «засвечена» миром, недоступна для него, потусторонняя, оставаясь всегда загадочной *camera obscura*. Подобно тому, как, чтобы было возможно зрение, глазу требуется слепое пятно, *tesconnaissance*, скотома. В противном случае с треском рушится весь мир-для-нас, мир явлений, который оживает в душе, но если она вдруг «засвечивается», подпадая миру, то и он моментально оборачивается мыльным пузырем.

Старинное платоновское высказывание, гласящее, что душа есть и становится тем, что она созерцает, — обнаруживает ее природу как действительность запечатления, на основе которой сущее впервые проявляется в тех формах, в которых мы его созерцаем и делаем постигаемым для ума. Дифференцированное зрение, зрение, которым мы не только смотрим, как мы смотрим физическими глазами, но и видим, то есть обнаруживаем способность понимать и переживать то, к чему обращен наш взор, — это не просто особая душевная способность, но способность лишь зрячей, не «засвеченной» души. Другими словами, души, радикально изъятый из имманентного порядка сущего с тем, чтобы через нее, являясь перед ней и в ней запечатлеваясь, этот порядок единственно и мог состояться. Если же мы, как мне кажется, вполне справедливо утверждаем атрибут двойной сокрытости, присутствующий в первооснове новой виртуальной реальности, то мы констатируем тот факт, что «засветка» произошла. Что возник, как выражается Бодрийяр, экран экстатического преломления, служащий не для показывания чего-либо, не для презентации того или иного сущего, а для обратной связи в самом себе. Возможно, появление обратной связи в традиционных формах представления и является тем, что описывается как самозарождение какого-то нового, неведомого бога, — экран порождает циклопического Нарцисса, сохранившего лишь невидящий взгляд, блуждающий в бесконечных поисках ранившего его маленького объекта (*petit'a*), нового хитроумного Одиссея. Но доступа к реальному больше нет. Экран экранирует сам себя, без установки фундаментального различия пустой видимости и действительного явления. Информация производит новую информацию, лишь номинально обращаясь к реальности фактов. Возникает впечатление, что в этом поле факты вообще вторичны. Паутина тотальной коммуникации плетет сама себя по своим собственным законам. В ее сплетениях и узлах, подобно природным родникам, внезапно появляются новые таинственные «информированные» источники, между ними, подобно торным дорогам или лесосплавным рекам, прокладываются «информационные» каналы. Наше время еще ожидает своего Хайдеггера, который описал бы проселки и лесные тропы виртуального мира или создал бы текст наподобие «Виртуальный ландшафт: почему мы остаемся в Интернете?». Впрочем, пока не понятно, оставит ли масс-медиаальный холокост после себя хотя бы одного свидетеля, хотя бы единственный по-настоящему сторонний (хотя не посторонний и не чуждый) взгляд. Дело даже не в том, что

сформировалось невиданное доселе поле иллюзорности, которое не рассеивается и в моменты полной реализованности акта *cogito*. Дело, скорее, в обратном, — в том, что у нас больше не осталось иллюзий, что иллюзии воплощаются в реальность раньше самой реальности, что бороться с ними смешно, поскольку такая борьба станет их окончательным триумфом.

**Т. М.:** — Мне кажется, что трансценденция не может окончательно исчезнуть, потому что она свойственна человеку, является фундаментальным антропологическим свойством. Человек, чтобы реализовывалась идея его бытия, должен трансцендировать. Выход в радикально другое совершенно необходим. Впрочем, на уровне глобализации трансцендентное присутствует в действительно странной форме — как финансовый капитал, который крутится в поле виртуальной экономики, не имея под собой никакой предметной субстанции, не будучи обеспеченным золотом или реальным товаропроизводством. Это чистая трансценденция, нематериальное начало, не зависящее даже от распределения и веса денежной массы. Нужно понимать, в каком мире мы живем, чтобы научиться правильно на него реагировать. Понятно, что основная реакция на глобализацию идет сегодня из мусульманского мира. Эта реакция выражается в различных формах фундаментализма. Изменение мировой оси с направления Восток-Запад на Север-Юг, которое в последнее время много обсуждается, означает прежде всего то, что прежние этнические противостояния перетекают в противостояния религиозные. Войны, в которых оказывается наибольшее количество жертв, войны самые жестокие и кровавые происходят не между народами, а внутри народов. Возрастает число войн религиозных. Это тоже реакция на глобализацию, поскольку именно религия менее всего подлежит универсализации, у нее много защитных механизмов. Культура значительно слабее сопротивляется влиянию и проникновению других культур. Однако надо признать, что зачастую ответ на глобализацию оказывается более безумным, нежели безумие самой глобализации. Наши православные, например, нередко сводят реакцию на глобализм к борьбе с ИНН. Вместо критического осмысления процессов, происходящих в мире, мы наблюдаем нечто близкое к слабоумию. Нельзя реагировать подобным образом, нужно просто идти своим — узким — путем. Подлинная реакция — это духовная отрешенность. У нас недавно приняли закон против экстремизма. Каждый глубокий человек несет в себе какой-то экстремизм, отказывается вписываться в общепринятые рамки. Несмотря на то что все говорят о соблюдении законов, ситуация развивается в сторону абсолютной незаконности. На Западе народ приучен к эволюции, а мы привыкли к катастрофам. Антиглобализация идет очень болезненно и ненормально. Единственное, что остается, — нельзя просто реагировать, нужно жить своей творческой жизнью, своей полнотой бытия, своей судьбой.

**А. К.:** — Как страх смерти сам по себе бывает смертельным, так и борьба против глобализации в тех формах, которые она принимает, еще безумней, чем то, от чего она пытается защититься. Я тоже знаю людей, борющихся

против регистрации ИНН. Моя однокурсница, которая сейчас является послушницей в Саровском монастыре, спрашивает, почему же мы молчим, когда нас регистрируют и присваивают число зверя? И ради этого она забросила все свои занятия! Впрочем, разве это не духовность, которой мы взываем, когда тебя волнуют подобные вещи, а вовсе не что-то «кесарево»? Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что на самом деле протест против числа зверя абсолютно аналогичен, скажем, призыву собрать 120 пробок от Пепси-колы, предъявить их и получить очередную футболку. Это ловушка, которая не знаменует никакого выхода из имманентного круга. Вот почему я думаю, что нам следует развести два понимания трансцендентного. Одно дело — то, о чем говорила Татьяна. Это, скорее, тоска по тому трансцендентному, которое как надежный путь следования метафизики утрачено, быть может, навсегда и обретаемо лишь индивидуально. Другое дело — то трансцендентное, которое мы пытаемся определить. Грубо говоря, каков же нрав этого загадочного, безымянного бога, кто является его возлюбленным, кого он мог бы возлюбить и одарить своим присутствием? Допустим, мы знаем, что Иегова ревнив, перед его ликом требовались послушание и страх Божий, то этот-то какого нрава? Нрав его довольно странный — ему люб тот, кто собрал 120 пробок от Пепси-колы, ему люб тот, кто победил ожирение. Мне вспоминается прекрасный персонаж Аркадия Гайдара по имени Мальчиш-плохиш. Помните, главный буржуин в награду за измену дал ему бочку варенья и корзину печенья. Мальчиш-плохиш отправился в подвал и там все это ел. По-видимому, именно таков нрав бога Юксты: вот тебе бочка варенья и корзина печенья, вот тебе самое лучшее средство от ожирения или от перхоти. Если мы попытаемся последовать этой логике счастья, что же будет? А то, что ты действительно станешь любимчиком богов. Например, выиграешь какой-нибудь телевизионный приз, попадешь в неимоверно тупые состязания по угадыванию, которым должен заниматься первоклассник, или случайно соберешь нужную комбинацию. И все, этого вполне достаточно для того, чтобы оказаться участником шоу. Не нужно сидеть-размышлять, стихи сочинять, писать картины, — это все лишнее. Зачем? Можешь и таким путем пройти, но не стоит. Гораздо лучше в соответствии с требованиями этого невидимого бога вписаться в предписанную структуру счастья. Тогда будь ты хоть негром преклонных годов, тебя вознесут и покажут на всех телекартинках мира. Вот человек, отрастивший самые длинные усы, выпивший больше всех пива или победивший ожирение, следуя методике такой-то. Ему бочку варенья и корзину печенья, местечко в окнах масс-медиа, потому что он и есть любимец богов или нового бога, который ныне правит.



**ДМИТРИЙ МИХАЛЕВСКИЙ**

президент благотворительного фонда «АРХЕ»,  
руководитель проекта «Международный симпозион  
современного искусства»,  
автор книги «Неизвестная Античность:  
Великий миф о Великой трагедии»

---

## **Пространственная парадигма. Закон повышения мерности (Русский мир в зеркале древнегреческой истории)**

Как спорить с тем, что я чувствую себя в кругу собственного тела, в кругу мира, в ситуации здесь и теперь? Но ведь каждое из этих слов... не ставит никакой проблемы: как бы я мог заметить, что нахожусь «в кругу собственного тела», если бы уже не был в нем, как пребываю в самом себе?.. Узнал бы ли я, что нахожусь в кругу мира, в ситуации здесь и теперь, если бы все ограничивалось только этим? В таком случае я просто был бы, как это свойственно вещи...

Все что существует, существует либо как вещь, либо как сознание, середины нет.

*Морис Мерло-Понти*

### **Постановка задачи**

...Целью теоретического знания является истина, а целью практического — дело... Но истину мы не знаем, не зная причины.

*Аристотель*

Что такое Русский мир? Что представляет собой эта целостность, частью которой мы являемся? И чем она отличается от мира иного, к примеру, американского? Вроде бы все одинаково, но отчего мы и наши жизни такие разные? Помните, в 80-х, в скрытой надежде на помощь Запада, мы упивались идеей того, что мы одинаковые? А в итоге оказались почти антиподами. И не только географически...

На этот вопрос найдется столько же ответов, сколько собеседников. Сегодня некоторые юмористы умудряются на таких вопросах зарабатывать весьма неплохие деньги. Ну, а если попробовать серьезно, то мы сразу оказываемся где-то в сфере национальной идеи. На эту тему сатирики не шутят. Да и политики предпочитают обходить ее стороной. Слишком непросто. А кто должен отвечать? Фундаментальная гуманитарная наука. Но с ней беда...

Сто лет назад произошла последняя Великая смена мировоззренческой парадигмы. Первыми на нее отреагировали естественно-научные и технические дисциплины. Наука буквально взорвалась новыми теориями, среди которых были теория строения атома, теория поля, принцип относительности. Научно-технический прогресс получил невероятное ускорение, и его плодами мы пользуемся сегодня. Тогда же — в начале прошлого века — революционные изменения затронули все без исключения практические искусства: театр, живопись, литературу, музыку, скульптуру, архитектуру... А вот гуманитарная наука тихо сохранила верность Марксу, Фрейду и Дарвину, то есть парадигме середины XIX столетия. И на тех же позициях она остается по сей день. Разрыв между теорией и практикой жизни приобретает катастрофический характер. Как можно, к примеру, планировать жизнь человека исходя из ее частной производной — экономики? Вот и раскатывает экономика человека вместе с планетой, на которой он живет, словно паровой каток, подгоняя под свои условия. А на фоне грядущей «нано» революции ситуация вообще приобретает апокалипсический оттенок.

Впрочем, кризис — это обоюдоострое оружие. В случае позитивного решения кризис приносит гораздо большие дивиденды, чем плавная эволюция. В конце XIX века ситуация в физике была не многим лучше, чем сегодня в гуманитарной области. Кризис — это симптом грядущих перемен. Так что будем оптимистами и станем ждать нового прорыва с теми же результатами: появлением теории поля, принципа относительности, но только для гуманитарной сферы. Ведь это вопрос психологии — как человек способен мыслить и видеть Свой мир...

Различия мира русского и американского буквально потрясли, когда в самом начале 90-х годов судьба забросила меня на Аляску. Фербанкс. Зима. В ледяную тьму светят незашторенные окна гостиных, каждое из которых размером с гаражные ворота. Пространство дома изливается в тайгу и вытягивает внутрь окружающий мир. Внутри дома тоже решены в едином объеме — с минимумом дверей и перегородок. У нас это входит в практику только сейчас. После полуторагодового пребывания в Америке, когда вечером проезжал на такси из аэропорта по Московскому проспекту, глаз резанули темные фасады, грязные, сплошь занавешенные окна. Наш человек до сих пор в большинстве своем уютно чувствует себя в маленьких помещениях. И чтобы дверь была закрыта. У американцев, наоборот, принято дверь оставлять приоткрытой. Но даже к собственному ребенку нельзя войти без стука — личное пространство. У нас вообще такого понятия нет. И закрытая дверь ни для кого препятствием не служит...



Чтобы найти ответ на любую нетривиальную проблему, нужно суметь взглянуть на нее со стороны. Или сверху, если угодно. То есть повисить размерность. Перетирать одни и те же факты, оставаясь внутри проблемы, — дело журналистов и сатириков. Это их работа. Но решение проблемы — вопрос теории, а с ней у нас, как и у всех нормальных людей, гордящихся своей практичностью, очень непросто. В этом мы с американцами очень похожи.

Вышеприведенная история позволяет выделить принципиальное различие между русскими и американцами в плане малого пространства жизни. Это модель, которая наглядно вскрывает различие национальных психологий. А ведь именно пространство, наряду со временем, является фундаментальной философской категорией. Не случайно именно пространство составило основу физических концепций и новых идей в искусстве, родившихся сто лет назад. Пространство — это тот базис, на котором сегодня надо искать ответы на гуманитарные вопросы.

Второе, что требуется для успешного поиска, — нейтральная территория. Материал, на котором удобно проводить анализ. Таковой площадкой для интеллектуальных экспериментов для меня стала Древняя Греция.

В нее я попал со сцены, где обеспечивал светохудожественное оформление и лазерные эффекты отечественным и зарубежным звездам эстрады 80-х годов. Тогда же за успехи на этой ниве меня, выпускника Политеха, инженера-лазерщика, японцы включили в базу данных ведущих мировых художников, работающих с новыми технологиями. Стремясь разобраться в механизме воздействия моего художественного метода, я занялся теорией театра. Поскольку корни эффекта надо было искать в традиции театрального пространства, я предпринял попытку среди прочего написать про древнегреческий театр. Ничто не предвещало подвоха, тем более что все остальные эпохи были описаны и у меня сложилась ясная концепция развития театра как пространственной структуры, являющейся мировоззренческой моделью, не менее наглядной, чем естественно-научные представления... Однако проблемы возникли с самого начала.

Сравнив даты начала строительства первого театра Диониса и срок этого строительства с датами жизни великих трагиков, я с удивлением обнаружил, что к моменту открытия театра прошло больше тридцати лет, как Софокл с Еврипидом ушли из жизни... Задумавшись, я засомневался еще больше. Мой практический опыт говорил мне, что трагедия никак не могла играть после мистерии — слишком неравны они по силе воздействия. Кабинетные ученые об этом просто не задумываются, а чаще о мистерии вообще не вспоминают. Дальше — больше... Приехав первый раз в Афины и попав в Американскую археологическую школу, я выяснил, что, согласно последним археологическим данным, той низенькой деревянной сцены с двумя параскениями, которые принято изображать на всех иллюстрациях театра классического периода, в театре Диониса не было — его сразу построили с двухэтажной каменной фронтской. Дальше я стал думать о том, как за такой короткий исторический период кровавый дионисийский ритуал смог развиваться в столь высокое драматическое искусство, что до сих пор — спустя два с половиной тысячелетия! — мы продолжаем трепетать

от постановок трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида? А разве можем мы представить, чтобы сегодня целый город пошел бы смотреть некое сценическое действо? Надо было разобраться с психологией этих удивительных людей, которые сотворили для мира «греческое чудо». К сожалению, наука помочь мне ничем не смогла, и пришлось искать самостоятельно ответы на вопросы, которые продолжали множиться.

## Универсальный прасимвол форм культуры

Тридцать спиц соединяются в одной ступице, образуя колесо, но употребление колеса зависит от пустоты между спицами.

Из глины делают сосуды, но употребление сосудов зависит от пустоты в них.

Пробивают двери и окна, чтобы сделать дом, но пользование домом зависит от пустоты в нем.

Вот почему полезность чего-либо имеющегося зависит от пустоты.

*Лао-цзы*

Мне очень повезло. С одной стороны, я накопил большой практический опыт сценической работы — сделал своими руками более двух тысяч постановок. Этот опыт убедил меня, что именно пространство является ключом к проблеме. Пространство, опредмеченное световым дизайном и сценографией, производит сильный эффект на зрителей, гипнотизируя их и подчиняя воле режиссера. Именно пространство определяет суть всей культуры XX столетия. С другой стороны — инженерная привычка к системному мышлению позволила мне грамотно подойти к изучению театра как пространственной мировоззренческой модели. И наконец, сам театр как объект исследования — гигантский многосложный организм — не оставлял возможностей для произвола, активно формируя поле исследования.

Попытки выстроить комплексную картину исторических процессов на основе развития пространственных представлений человека неоднократно предпринимались как в западноевропейской, так и отечественной гуманитарной науке. Историческую ретроспективу работ по этой теме открывает монументальный труд О. Шпенглера «Закат Европы», изданный в мае 1918 года. Шпенглер полагал пространство «знаком и выражением самой жизни, изначальноейшим и мощнейшим из всех ее символов»<sup>1)</sup>. При этом он в полной мере понимал и методологические возможности пространства: «Способ протяженности должен отныне быть назван прасимволом

1) Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., 1993. С. 336.

культуры. Из него можно вывести весь язык форм ее действительности, ее физиогномию...»<sup>2)</sup>

Значительная традиция изучения пространства существует в отечественном искусствознании и эстетике. Отдельные аспекты исследования этой проблемы (философско-эстетический, структурно-функциональный, психологический и др.) были намечены в первой половине XX века в ряде работ А. Ф. Лосева, Б. В. Асафьева, М. М. Бахтина, Л. С. Выготского, но наиболее последовательное и глубокое исследование проблемы пространства провел П. А. Флоренский. В рамках объемного междисциплинарного исследования он предпринял попытку связать между собой точные, естественные науки и искусствознание. Работа была начата в 1921 году, когда отец Павел занимал должность профессора по кафедре анализа пространственности в художественных произведениях ВХУТЕМАСа.

Так же как Шпенглер, Флоренский считал, что «вопрос о пространстве есть один из первоосновных в искусстве и, более — в миропонимании вообще»<sup>3)</sup>. Однако ряд сформулированных им выводов звучит по меньшей мере парадоксально. В качестве примера приведем мнение отца Павла в отношении театра: «Театр... наименее предполагает активного зрителя и наименее допускает многообразность в восприятии своих постановок. Это — искусство низшее, не уважающее тех, кому оно служит, и не ищущее в них художественного сознания. И себя оно не уважает, даваясь зрителю без труда и без самостоятельности...»<sup>4)</sup>. Причина столь сурового «приговора», вынесенного Флоренским театру, отчасти заключается в принятии за основу частных тенденций современной постановочной практики. Кроме того, ему удалось учесть далеко не все факторы, что в определенной мере объясняется уровнем развития концепции пространственности в западноевропейской культуре на начало XX столетия.

Впрочем, и значительно позже многие исследователи признавали трудность проблемы пространства. В 1969 году в одной из своих поздних статей, озаглавленной «Искусство и пространство», Мартин Хайдеггер поставил множество вопросов, подавляющее большинство которых осталось без ответа. Свое мнение знаменитый философ сформулировал более чем откровенно: «Замечания об искусстве, о пространстве, об их взаимодействии остаются вопросами, даже когда звучат в форме утверждений»<sup>5)</sup>. Возможно, что ответ на загадку пространства вообще нельзя дать, оставаясь в рамках узкопрофессионального подхода.

Казалось бы, все вопросы относительно восприятия пространства должна снимать психология. Однако чаще всего эта дисциплина сводит проблему пространства к разбору механизмов восприятия трехмерности объектного мира. «Классической пространственной характеристикой лю-

2) Там же. С. 337.

3) Флоренский П. А. Сочинения: В 2-х т. М., 1990. Т. 2: У водоразделов мысли. С. 102.

4) Флоренский П. А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993. С. 63.

5) Хайдеггер М. Искусство и пространство // В кн.: Время и бытие. М., 1993. С. 312.

бого ощущения, вошедшей во все учебники общей психологии, является локализация, то есть непосредственное воспроизведение местоположения отображаемого раздражителя во внешнем объективном пространстве»<sup>6)</sup>. При этом автор этих слов, профессор Л. М. Веккер, который придерживался мнения об ошибочности идеи Канта относительно априорности пространства и активно развивал идею изоморфизма внешнего пространства его отображению, был вынужден признавать, что «пространственные компоненты ощущения... не являются „чисто“ пространственными»<sup>7)</sup>.

Детальную критику современных психологических подходов привел французский философ Мерло-Понти. В своей книге «Феноменология восприятия», заложившей основы экзистенциальной психологии, он, в частности, писал: «Мы должны описать явленные размеры и конвергенцию с точки зрения нашей способности *охватить их изнутри* [выделено мной — Д. М.], а не так, как их рассматривает научное знание»<sup>8)</sup>. Здесь следует отметить диаметрально противоположный взгляд на феномен пространства в рамках философии и психологии. Если первая понимает его как безусловно фундаментальную категорию, то для второй оно фактически не существует, являясь абстрактным понятием.

### Сложность пространства

...Можно иметь <перед собой> некоторое целое и в то же время не быть в состоянии овладеть частью, — это показывает <всю> его трудность. Но если учесть, что трудности бывают двух родов, причина ее, может быть, не в вещах, а в нас самих; как глаза летучих мышей слабеют при дневном свете, так и разум нашей души — перед теми вещами, которые по природе — самые ясные из всех.

*Аристотель*

Правда ли, что мы оказываемся перед альтернативой либо воспринимать вещи в пространстве, либо же... мыслить пространство как неделимую систему связующих актов, совершаемых конституирующим разумом?

*Морис Мерло-Понти*

Для меня поначалу были неожиданными те трудности, которые возникли на пути исследования пространства. Даже его описание составляет филологическую проблему. Термин «пространство» обычно трактуется как местоположение материальных объектов. А где же та среда, для изображения которой на плоскости холста итальянские гении Возрождения изобрели сфуматто?

6) Веккер Л. М. Психические процессы: В 3-х т. Л., 1974. Т. 1. С. 143.

7) Там же. С. 167.

8) Мерло-Понти М. Пространство // В кн.: Текстуальность. Философская мысль Франции XX века. Томск, 1998. С. 44.

Еще Хайдеггер обратил внимание на то, что слово «пространство» появляется в европейских языках лишь в эпоху итальянского Возрождения. А отсутствие понятия позволяет предположить отсутствие восприятия пространства на более ранних этапах истории. Кстати, считается, что первое описание ландшафта в западноевропейской культуре сделал в 1333 году в своих письмах Франческо Петрарка, путешествовавший тогда по северной Франции и Германии.

В английском языке вообще нет термина, соответствующего этому понятию. Есть слово «space» — космос и новомодное 3D. Отсюда возникают огромные сложности написания статей по проблеме пространства в западные журналы: приходится долго объяснять, что речь пойдет не о межпланетных перелетах и не о трех координатах, а о том, что внутри и что пустотой не является...

Уникальность феномена пространства заключается в том, что при всей своей «естественности», делающей его незаметным, словно дыхание, оно недоступно прямому восприятию органами чувств. В своем фундаментальном труде «Общая психопатология» Карл Ясперс писал: «Пространство и время *всегда присутствуют* в области чувственного восприятия. Сами по себе они не являются первичными объектами, но облекают собой всю объективную действительность... Пространство и время не воспринимаются сами по себе — и с этой точки зрения они отличаются от других объектов»<sup>9)</sup>. Этот факт, который обычно остается незамеченным, служит источником различного рода ошибок. Повседневная «привычка» и пространственные стереотипы современной культуры скрывают важнейший факт: у нас нет органа, ответственного за восприятие пространства. Оно доступно нам только опосредованно, через окружающие нас объекты, и тем самым оказывается «вторичным» по отношению к восприятию этих объектов. В результате, пространство представляет собой сложный феномен культуры, соответствующий текущему уровню развития человека.

Незамеченным остается и такой специфический феномен, как отсутствие памяти об ощущениях пространства. Это означает, что восстановление собственных пространственных представлений раннего возраста требует от нас значительных усилий и обычно невозможно без подсказок, приходящих со стороны. Причины этого явления станут более понятны после рассмотрения пространственной модели человека.

Анализ пространственных представлений осложняется еще более, когда дело касается иных исторических эпох. Так, современные исследователи не испытывают сомнений относительно того, что наши предки и две, и три тысячи лет тому назад видели и переживали окружающий их мир точно так же, как мы, живущие на рубеже третьего тысячелетия от Рождества Христова. Ведь хорошо известно, что психика человека сформировалась около десяти тысяч лет назад. Естественно, не возникает и мыслей о какой-либо динамике пространственных ощущений. Не последнюю роль в таком

9) Ясперс К. Общая психопатология. М., 1997. С. 113.

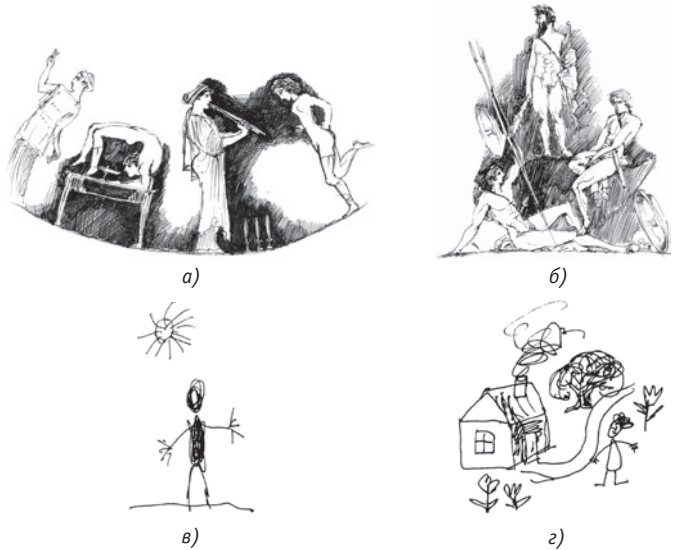
положении играют кибернетические параллели, активно разрабатываемые современной психологией.

Как это ни странно, но нам в действительности в большей мере свойственно плоскостное видение мира. Чувствительность глаза к глубине существенно ниже по сравнению с панорамным зрением. Как свидетельствует история живописи, чем слабее параметры зрелищной картины, тем позднее они входили в практику. А потому глубина, как параметр слабый, появляется в живописной композиции достаточно поздно.

Кроме того, мы живем внутри пространства, словно рыбы в воде. Наблюдать объект изнутри крайне трудно. А речь о пространстве должна идти как о макрообъекте, вмещающем все остальные объекты нашего мира. Чтобы его «увидеть» и осознать, требуется «взгляд сверху», то есть нужен более высокий уровень абстрагирования. Такая позиция напоминает положение атланта, удерживающего на своих плечах мир, или муз астрономии с миром в виде глобуса на поднятых руках у здания Адмиралтейства. Так что проблема познания пространства почти божественная.

Выход из тупика, в котором оказались гуманитарные размышления о пространстве, предложил представитель естественно-научного знания. Академик Б. В. Раушенбах обратил внимание на то, что в жизни каждого ребенка существует характерный момент, когда он перестает изображать землю в виде линии и в своих рисунках начинает использовать приемы перспективного построения. Раушенбах убедительно связал отмеченное им изменение отображения пространства с личностным развитием человека. Согласно его объяснению, плоскостность, отличающая рисунок на ранней стадии, является прямым результатом того, что ребенок воспринимает себя не как индивидуальность, но как органичную, неотъемлемую часть коллектива. Образы, создаваемые в этом случае, отнюдь не «неудачные» изображения действительности, но символы, обозначающие функции. К примеру, «египетская» манера изображать глаз не иначе как в фас на лице, повернутом в профиль, есть фиксация функции зрения, а не глаз конкретного человека, которому принадлежит лицо.

Согласно Раушенбаху, в детских рисунках проявляются первые намеки на трехмерность, когда



#### Переход от плоскостного рисунка к перспективному:

- а) Полигнот. Танцовщицы и акробатки (роспись гидрии ок. 430 г.); б) Мастер Ниобид. Краснофигурный кратер из Орвиге (2-я четв. V в. до н. э.); в) Плоскостной детский рисунок; г) Перспективный детский рисунок





«Парижанка».  
Фреска из Кносса

ребенок начинает обретать индивидуальность, позволяющую ему чувствовать собственную независимость от коллектива. Только при этом условии он оказывается в состоянии сформировать психологически независимый взгляд на объекты окружающего его мира, что и фиксирует рисунок. Потому-то длительный процесс психологического развития человека с наибольшей наглядностью получает отражение как раз в развитии техники рисунка.

Кроме того, Раушенбах отметил, что не только современные дети, но также древние египтяне и греки прошли этапы этого процесса развития. В своих книгах он проанализировал переход от чернофигурной вазописи к краснофигурной как «Рубикон» становления личностного начала в древнегреческом обществе. Именно в середине I тысячелетия до н. э. человек освобождался из плена безличностного общинно-родового бытия. Этот психологический процесс становления личности явился катализатором для возникновения искусств, драмы, театра, философии и наук, породив в итоге яркий феномен «греческого чуда».

Это качественное изменение человека на пути к его индивидуализации, надежно зафиксированное в продуктах творческой деятельности, вполне может стать объективной точкой отсчета для анализа развития личности как в индивидуальном плане, так и в коллективном, историческом. С другой стороны, оно указывает на то, что восприятие внешнего пространства зависит от уровня психологического развития человека. Его вполне можно считать первой «реперной точкой», столь важной для анализа развития человека.

## Пространственная модель человека

Оба пространства — внутреннее и внешнее — постоянно побуждают... друг друга к росту. Определять пространство жизни как пространство эмоциональное, что вполне обоснованно делают психологи, еще не значит, однако, дойти до самого корня грез пространственности.

*Гастон Башляр*

Так же как и большинство других исследователей, Раушенбах рассматривал внешнее пространство, окружающее человека. Этого оказалось мало для того, чтобы продвинуться дальше. Кроме того, он следовал взглядам Флоренского, которые формировались под непосредственным влиянием теологической доктрины. И это также сужало спектр его возможностей.

Очевидно, что человек имеет дело не с одним, а, по крайней мере, с двумя четко обособленными друг от друга пространствами: внешним и внутренним.

Внешнее пространство — это мир, окружающий человека. Под влиянием естественно-научной картины мира сформулировалась устойчивая привычка отождествлять внешнее пространство с аристотелевско-нью-

тоновской моделью. В действительности каждый человек живет в своем сугубо индивидуальном пространстве, ощущение которого нередко отклоняется от трехмерности. Ясперс писал следующее: «Все мы осуществляем свою судьбу в пространстве и времени так, что обе эти категории обретают свою сущность в рамках всеобъемлющего настоящего; и все же как пространство, так и время представляют собой лишь внешний покров событий, все значение которого проистекает из нашей осознанной позиции по отношению к этим категориям. Именно благодаря значению, а не специфическому переживанию категории пространства и времени превращаются в психический язык, в психическую форму, которая не может быть предметом обсуждения, когда разговор идет о пространстве и времени как таковых»<sup>10)</sup>. Чтобы учесть эффект этой субъективности, экзистенциальная психология ввела термин «ориентированное пространство», отмечая как одно из его главных качеств анизотропичность<sup>11)</sup>.

Последнее положение также получило подтверждение в рамках исследований Раушенбаха, показавшего, что в субъективном пространстве могут быть выделены две зоны — ближняя и дальняя. Линия раздела проходит на расстоянии одного-двух десятков метров от наблюдателя. Именно ближняя зона наполняется для человека психологическим смыслом, обеспечивая комфортное состояние текущего бытия.

Неудача первой ручной стыковки космических аппаратов на орбите стимулировала его исследования в этой области. Раушенбаху, работавшему у Королева, удалось обнаружить, что способность видеть в прямой перспективе свойственна человеку только в дальней зоне, а в ближней он воспринимает мир в обратной перспективе, то есть как это изображается на средневековых иконах. Но на Земле эта специфика угнетается привычкой к картинке, формируемой оптическими системами (фото, кино, телевидение, видео) и наличием реперных объектов.

Внутреннее, духовное пространство — это внутренний мир человека, развитие которого определяет его как личность. Юнг полагал, что личностное формируется из коллективного бессознательного по мере того, как оно становится осознанным: «Сознательная личность есть более или менее произвольно выбранный фрагмент коллективной психики».<sup>12)</sup>

Психологическое объяснение перехода к объемному рисунку свидетельствует о том, что внешнее пространство в том виде, как оно воспринимается человеком, оказывается функцией его внутреннего пространства. И субъективный идеализм здесь ни при чем. Анализируя понятия «внутренний мир» и «окружающий мир», Ясперс писал: «Душа — не вещь, а бытие в собственном мире».<sup>13)</sup>

10) Ясперс К. Общая психопатология. С. 114.

11) Данилин А. Г. Пространство и субстанциональность. Лекция 3. С. 2. [http://www.narkotiki.ru/masterclass\\_4812.html](http://www.narkotiki.ru/masterclass_4812.html)

12) Юнг К. Г. Отношения между я и бессознательным // В сб.: Психология бессознательного. М., 2003. С. 213.

13) Ясперс К. Общая психопатология. С. 31.

Предложенная модель человека позволяет также по-новому оценить роль и место сознания человека. Развитие сознания определяет характер психических процессов высшего уровня. Информация, которую обрабатывает мозг, поступает из внешнего и внутреннего пространств. Других источников информации у него нет. По крайней мере, если не полагать мозг пассивным приемником. Таким образом, сознание — это третий и важнейший компонент пространственной модели человека.



Пространственная модель человека

Направленные в противоположных направлениях информационные потоки накладываются в мозгу и неизбежно влияют друг на друга. Чем больше размеры внешнего и внутреннего пространств, тем сильнее потоки информации и тем более развитыми должны быть мыслительные механизмы, их обрабатывающие.

Априорно внешнее и внутреннее пространства велики<sup>14</sup>). Можно предположить, что на разных этапах развития человеку доступны в них те конфигурации, которые соотносятся с текущими механизмами мышления и раскрываются при их посредстве. То есть сознание выступает в качестве фильтра, действующего в двух направлениях. А человек способен воспринять только то, что отфильтровывается. Остальное — остается «за кадром».

Так или иначе, оба названные пространства коррелируют развитием сознания. Но поскольку доступным наблюдению в первую очередь является внешнее пространство, то оно оказывается важнейшим параметром, позволяющим объективно оценивать уровень психологического развития человека.

Понятно также, что на протяжении своей жизни, как в личностном, так и историческом плане, человек движется от некоторого минимального пространства к максимальному. Это соответствует нормальному развитию. По нарушению этого пространственного процесса легко определять сбой в психологическом развитии.

### Пространственная парадигма

(Природные) законы не являются внешними силами по отношению к вещам; они воплощают гармонию движения, свойственную самим вещам.

*И цзин (86, 68)*

Процесс развития психики, выражающийся через определенные пространственные представления, имеет не аморфно-плавный характер, а состоит из нескольких качественно различных этапов. Этот процесс можно

14) С середины 80-х годов, после открытия спинного поля, наука полагает внешнее пространство десятимерным. Размеры коллективного бессознательного не поддаются оценке, тем более что существуют различные точки зрения на его местоположение.

сопоставить с восхождением по лестнице абстракций. «Самым существенным результатом мышления... является образование и фиксация в памяти различного уровня абстракций. Подобно ступенькам лестницы, обозначения способствуют введению все более абстрактных понятий. По мере того, как достигаются все более высокие (более абстрактные) уровни, человеческое познание охватывает все более обширные области реальности».<sup>15)</sup>

Это развитие человека может быть представлено через его способность выстраивать логические конструкции, сложность которых постепенно увеличивается. Поначалу таких связностей нет, и уровень развития можно определить как нуль-мерный. Затем возникают одномерные связности, далее двоичные (или бинарный архетип сознания) и, наконец, — троичные. Максимально возможная связность (или мерность) определяется органами чувств, предел восприятия которых ограничен тремя измерениями. Эти этапы соответствуют различным психологическим возрастам.

Для их описания мною было предложено понятие «пространственная парадигма».

Из сказанного выше следует, что пространственная парадигма человека, проходящего весь путь развития, повторяет ряд «пифагорейских» фигур. Универсальность и объективность этого параметра предоставляет возможность для широких и научно достоверных междисциплинарных обобщений.

Взгляд на эту последовательность обнаруживает интересное качественное различие между образующими ее фигурами. Первые три — точка, линия и плоскость — не имеют объема. Следующая фигура, которую целесообразно добавить в ряд «пифагорейских» фигур, в силу ее качественной специфики, пространственна, но не имеет объема. Это парадигма, которую я назвал «два плюс один». И наконец, только далее возникают по-настоящему объемные фигуры — пирамида и куб.

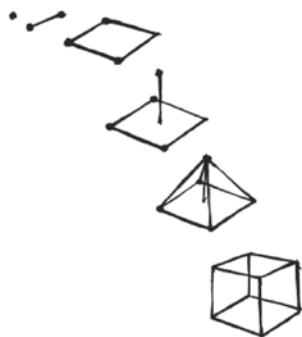
Отмеченное различие позволяет идентифицировать этапы личностного развития, выражаемые через эти пространственные парадигмы. Отсутствие пространства означает, что на первых трех этапах человек не функционирует как самостоятельная личность. На этом этапе сферой его интересов является окружающий мир — внешнее пространство. Там человек находит символы.

Появление вертикали радикально изменяет ситуацию. Ситуация обретает трансцендентный характер. Человек формирует иерархии, в первую очередь — ценностей.

Возникновение пространства означает, что у человека появляется развитый внутренний мир, и именно он становится новым средоточием его интересов. Человек сформировался как личность. Он способен соединить символы, взятые из внешнего мира, с системой ценностей и заняться исследованием себя самого. На этом этапе рождаются произведения искусства как авторские послания одного внутреннего мира другим.

Человек неосознанно фиксирует свою пространственную парадигму в продуктах творческой деятельности. В результате произведения искусства,

15) Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. М., 1983. С. 13.



Ряд «пифагорейских» фигур, в который между плоскостью и пирамидой добавлена плоскость с вертикалью

политические, социальные, экономические, естественно-научные модели, религиозные представления в «пространственном» отношении являются точными слепами с их автора. Более того, первоначальная цель и условия создания произведения на конечный результат никак не влияют, поскольку

этот пространственный процесс происходит на подсознательном уровне. Можно сказать, что человек и его творения представляют собой изоморфные антропные системы. Пространственная парадигма — это своеобразная кристаллическая решетка, которая однозначно определяет психику человека, а соответственно — форму и внутреннее содержание продуктов его творческой деятельности. Пространственная парадигма обеспечивает надежную базу, позволяющую по пространственной организации форм культуры определять текущий уровень развития человека и обратно — характер продуктов творческой деятельности по уровню его развития.

Высказанное положение приложимо не только к отдельным персоналиям, но также и к группам, на что убедительно указывает общность первой «реперной точки» — объективно зафиксированное повышение мерности восприятия пространства, как переход от плоскостного рисунка к перспективному. Тем самым, результаты деятельности человека в сферах культуры, науки, общественной жизни обращаются в гигантскую базу данных для исследования его развития на протяжении истории.

Для отдельной личности смена парадигмы носит достаточно отчетливый характер, выражающийся в резком изменении картины мира. Такую перемену в жизни каждый переживал не однажды. Она сопровождается яркими позитивными эмоциональными переживаниями. Это катарсис — переход на новый, более высокий уровень развития, рождение личности в новом качестве — психологическое взросление.

В группах этот процесс выражен менее отчетливо, поскольку подчиняется статистическим закономерностям. Этносы представляют собой совокупность индивидуумов различного уровня развития, численно распределенных по Гауссовому закону. «Психология отдельного человека соответствует психологии наций»<sup>16)</sup>. Каждый этнос психологически взрослеет, проходя те же самые стадии, определяемые пространственными парадигмами. В результате максимум гауссовой функции распределения сдвигается во времени слева направо — от минимальной размерности к максимальной.

Процесс взросления — это не только эйфория радости. Пространственная парадигма, задаваемая способностью сознания строить логические конструкции определенного порядка, определяет уникальность картины

16) Юнг К. Г. О психологии бессознательного // Психология бессознательного. М., 2003. С. 28.

мира и продуктов творческой деятельности человека. При ее смене в сознании формируется новая, более высокая связность. Возникает новая картина мира, новая система ценностей, новая мораль. Старая картина мира оказывается вне восприятия новыми механизмами мышления. Изменяется весь миропорядок, что определяет особый драматизм момента. Н. А. Хренов в книге «Русский Протей» описывает эти процессы, исходя из результатов искусствоведческого анализа: «Поскольку утверждение картин мира происходит в ситуации противостояния и конфликта, это нередко связано с драматическими ситуациями, а потому даже в светских обществах утверждение новой картины мира приобретает ауру сакрального акта, сотворения, осуществляемого в ситуации враждебности принципиально нового космоса».<sup>17)</sup>



Смена мировоззренческих картин фактически сводится к вытеснению. У Хренова читаем: «Соотношение новой и предшествующей картин мира как соотношение между сознанием и бессознательным...»<sup>18)</sup> Вероятно, именно поочередно вытесняемые пространственные парадигмы формируют слои личного бессознательного. Исходя из этого предположения, можно понять их количество и содержание. Эта гипотеза подлежит проверке в рамках психоанализа.

Поскольку каждая новая пространственная парадигма возникает вследствие качественной смены механизмов мышления, то вытесненные мировоззренческие картины, ранее накопленные переживания и опыт становятся недоступными человеку, в тем большей степени, чем глубже слой их «залегания» в бессознательном. Этим объясняется, в частности, отсутствие памяти пространственных ощущений, о чем говорилось ранее.

Но если так формируется внутренний конфликт, свойственный отдельному человеку, то аналогично — вследствие фундаментального различия механизмов мышления — носители различных пространственных парадигм, сосуществующие в пределах одного социума, не могут обмениваться ценностной информацией высокого уровня. В повседневной жизни они вынуждены ограничиваться только сообщениями о том, что относится непосредственно к общей для них ближней зоне. Этот факт раскрывает фундаментальный смысл конфликта отцов и детей, межклассовых и межэтнических конфликтов. Для «изливания души» нам приходится искать «родственные души».

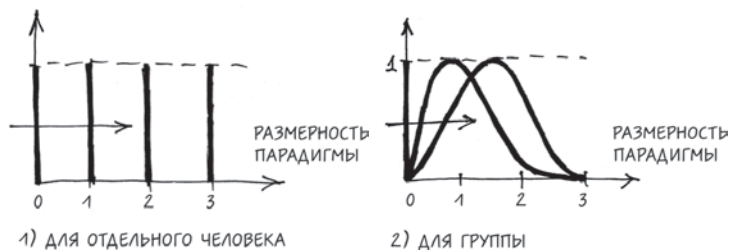
17) Хренов Н. А. Русский Протей. СПб., 2007. С. 29.

18) Там же. С. 30.



Особый драматизм возникает, когда смена парадигмы происходит не синхронно для разных групп общества. А именно так происходит практически всегда.

Дело в том, что в рамках одного этноса одновременно действуют все «достигнутые» на данный момент пространственные парадигмы. Имен-



**Динамика развития пространственный парадигмы  
для отдельного человека и для группы**

но они определяют расслоение общества, которое позже закрепляется через социальные институты и экономические механизмы. То есть марксизм описывает сложившуюся ситуацию, а переходные процессы связаны с психологией, что описал, в частности, Л. Мамфорд в своей книге «Миф машины». По мере взросления этноса в нем не только усиливается расслоение на группы, объединяющиеся по признаку общности пространственной парадигмы, но и растет количество социальных групп, определяемое числом пространственных парадигм, реализуемых членами этноса в данный период его развития.

Самое простое устройство общества соответствует нуль-мерному сознанию. Двоичное сознание позволяет сформировать двухуровневое общество, социальное устройство которого реализуется в двухклассовой рабовладельческой структуре. Пространственная парадигма два плюс один — это формирование вертикали власти, носящей, по существу, сакральный характер. То есть само общество нацелено на идеалистические ценности. Основная масса его членов имеет слабо развитое личностное начало и нуждается в «сильной руке» верховного вождя, отношение к которому носит ярко выраженный эмоциональный характер. Только завершающая парадигма означает стабилизацию социальной структуры общества.

Динамика развития пространственных представлений и психологическая специфика каждого этапа этого процесса выражены с особой отчетливостью для древнегреческой Античности. Этот период удобен для рассмотрения по нескольким причинам. Во-первых, древнегреческий этнос был достаточно замкнутым, то есть влияние на него извне было сравнительно слабым, особенно по сравнению с межэтническим взаимодействием на последующих этапах истории. Во-вторых, сохранилось достаточное количество источников, позволяющих провести надежный анализ. В-третьих, эта информация ограничена в объеме и может быть обработана в обозримый отрезок времени. Таким образом, анализ развития древнегреческого этноса можно рассматривать в определенной мере как «физически чистый эксперимент» по развитию человека на основе его пространственных представлений.

## Теоретический эксперимент

Дело не в том, что сами по себе представляют исторические факты любого времени, а в том, что означает или на что указывает их явление.

Оскар Шпенглер

### 1. Темные века

Дологические формы мышления отличает отсутствие абстрактных понятий, что не позволяет человеку структурировать информацию. Тем самым накладывается жесткое ограничение на ее общий объем, который доступен человеку. А так как информация поступает из внутреннего и внешнего пространств, то человек в состоянии освоить лишь самую малую их часть. Поэтому эту стадию развития можно определить как *точечную*, или *нуль-мерную*. Это «начальные» условия, определяющие всю специфику общинно-родового этапа, общую для всех народов.

Минимальность внутреннего пространства означает отсутствие у человека личностного начала, и он живет коллективным бессознательным. Согласно Юнгу, «коллективное бессознательное как оставляемый опытом осадок и вместе с тем как некоторое его, опыта, *a priori* есть образ мира, который сформировался уже в незапамятные времена. В этом образе с течением времени выкристаллизовывались определенные черты, так называемые архетипы, или доминанты. Это господствующие силы, боги, то есть образы доминирующих законов и принципы общих закономерностей, которым подчиняется последовательность образов, все вновь и вновь переживаемых душой».<sup>19)</sup> Архетипы становятся материалом для мифов и базой для формирования всех аспектов жизнедеятельности общества.

Сегодня миф обычно «поэтизируют», осовременивая и наделяя чуждыми ему чертами. Существует несчетное количество определений мифа и его трактовок в зависимости от контекста рассмотрения. Но с позиции пространственного подхода *миф — это информационно-коммуникационная система нуль-мерного сознания*. Форма единственная и адекватная породившему ее сознанию, которое в литературе привычно трактуется как «мифопоэтическое».

Причиной этих заблуждений выступает разница между современными и древними мыслительными моделями, которые, по мнению американских философов Франкфуртов, «не просто отличаются друг от друга, но напрямую вообще несовместимы»<sup>20)</sup>.

По словам Леви-Брюля, менталитет древнего человека «не восходит и не спускается по цепочке условий, которые сами являются обусловленными. Он, как и наш, обычно отталкивается от непосредственного чувственного данного, однако тут же покидает то, что мы называем объективной реальностью, чтобы заняться обнаружением оккультной, мистической

19) Юнг К. Г. О психологии бессознательного. С. 141.

20) Франкфорт Г. и др. В преддверии философии. М., 1984. С. 44.

причины, невидимой силы, проявившейся путем некоего изменения чувственного данного»<sup>21)</sup>. Приоритет отдается моментальному и интуитивному узнаванию, а дискурсивные операции кажутся человеку не просто тягостными и утомительными, но способными затемнить или помешать видению. Человек воспринимает объекты и явления окружающего мира через эмоциональные образы, которые доминируют в его сознании. Единственным механизмом взаимодействия с внешним миром оказывается вчувствование, то есть психологическая идентификация с объектами внешнего мира.

Минимальность внешнего пространства означает, что жизнь человека ограничена пределами ближней зоны. Этот замкнутый мир напоминает монаду, сравнимую с атомным ядром, внутри которого действуют непреодолимые близкодействующие силы. Во всех древних культурах племя отождествляется с занимаемой им территорией. Земля входила в состав социальной группы наряду с живыми членами племени — она принадлежала человеку, а человек принадлежал ей. В этом смысле древний человек и его земля — суть одно и то же. Подобная сопричастность распространяется также на живущих на этой земле животных, растущие там растения, природные явления, на все мистические силы, на почитаемых предков, героев эпонимов и т. п. Степень этой близости была столь сильна, что человек, покидавший свою территорию, переставал быть частью социальной группы и буквально умирал для своих соплеменников.

Жесткое ограничение психологической сферы «текущих интересов» ограничивает даже взгляд человека. Зрение действует только в пределах ближней зоны. Как показали современные исследования, в этих условиях формируется особый механизм восприятия «дальних угроз», при котором сигналом служит плоскостной силуэт-символ<sup>22)</sup>. Такого рода психологическая «слепота» присутствует у современных детей: далеко расположенные объекты и события их «не интересуют». Эти особенности объясняются концентрацией внимания на конкретных явлениях и объектах, а потому такое зрение иногда называемое «туннельным».

Отмеченная зрительная специфика человека характерна для всей истории Древнего Мира, что подтверждается многочисленными фактами культуры. В своем исследовании древнегреческого театра известный австралийский антиковед и археолог Джон Р. Грин отмечал: «На большей части пятого столетия аудитория все еще в значительной своей части находилась на стадии перехода от состояния „вербального общества“»<sup>23)</sup>. Вербальность останется характерной чертой культуры Античности на всем ее протяжении.

Для человека, замкнутого в пределах ближней зоны, пространство как самостоятельный феномен не воспринималось, поскольку его можно увидеть лишь на больших расстояниях. Отсутствие пространства как среды, объединяющей объекты, отражает дискретно-хаотический характер восприятия внешнего мира и свидетельствует об отсутствии связности в созна-

21) *Леви-Брюль А.* Первобытный менталитет. СПб., 2002. С. 97.

22) *Шевелев И.* Формообразование. Число. Форма. Искусство. Жизнь. Кострома, 1995. С. 107.

23) *Green J. R.* Theatre in Ancient Greek Society // Routledge. London; N. Y., 1994. P. 2.

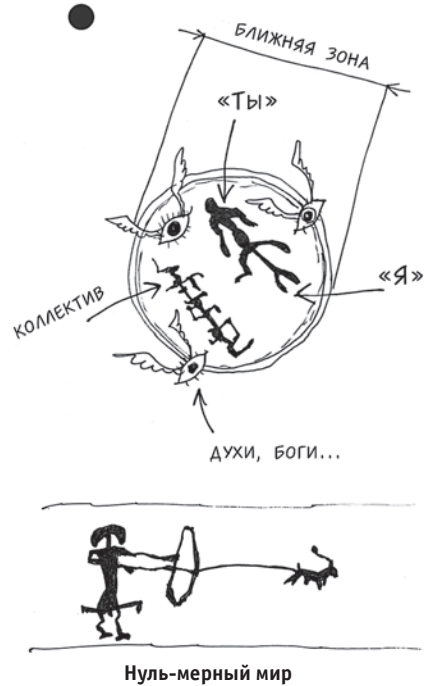
нии человека. Действительно, дискретные образы не связывались в классы и не образовывали понятия. Даже сам человек представлялся себе чем-то разрозненным. Это наглядно подтверждает вазопись и литература того времени. «Анализ словоупотребления у Гомера показывает, что ему еще незнакомо представление о человеке как о чем-то цельном, состоящем из единства души и тела. В словарном аппарате Гомера имеется несколько различных слов для обозначения тела и психической деятельности, но отсутствуют обобщенные понятия для того и другого. Таким образом, человек у него предстает как механическое множество или сумма различных членов и функций»<sup>24)</sup>.

Слабость информационных потоков порождала взаимоизолированность сознания, внешнего и внутреннего пространств. Современные исследователи сходятся во мнении, что каждое из них для героев «Илиады» и «Одиссеи» независимо подчинялось Божественному управлению.

Весьма точные описания психологической жизни общинно-родового строя оставил А. С. Сидоров. «Общество представляло из себя в значительной мере простое собрание тождественных индивидуумов, связанных, однако, одинаковыми интересами, инстинктами. Психологическая жизнь одного индивидуума в точности совпадала с таковой же у другого индивидуума и всего общества в целом. Вместе с тем целое общество, коллектив не представляло собою чего-либо принципиально иного, кроме того, что оно состояло из ряда тождественных единиц. Таким образом, часть, индивидуум качественно мало отличается от целого коллектива.

Часть, действительно, то же самое, что и все целое»<sup>25)</sup>. Это подтверждает, что структура недифференцированного общества в точности соответствует структуре мысли, в данном случае — выражаемой магической формулой «часть замещает целое».

По наблюдениям Сидорова, однородность психических типов и интересов определяет большую скорость перехода переживаний от одного субъекта к другому. Он подчеркивал, что для такого перехода не требуется членораздельной речи. Рефлексы, выражающиеся в телодвижениях, в инстинктивных выкриках отражаются на поведении остальных членов общества, как на резонаторах. Верной оказывается следующая зависимость:



24) Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии от Гомера до Перикла. СПб., 2002. С. 55.

25) Сидоров А. С. Знахарство, колдовство и порча у народа Коми. СПб., 1997. С. 253.

быстрота и сила перехода психических переживаний от одного индивида к другому обратно пропорциональна общественной, следовательно, и психической дифференциации. «Из-за отсутствия общественной расчлененности вытекает и невозможность критического подхода к переживаниям сочленов своей группы. Восприятие мира, несмотря на коллективность, является в высокой степени субъективным, оно определяется суммой тех представлений, которые человек выработал в результате своих ограниченных достижений трудового опыта плюс психических элементов „космического“ мышления, причем эти элементы космического мышления часто перевешивают элементы трудового опыта»<sup>26)</sup>.

Мир «темных веков» состоял из дискретных материальных безличностных одушевленных объектов. В этом мире отсутствовали причинно-следственные отношения, но была воля. Как это ни странно, но эта картина мира была вполне адекватной, в противном случае человек как вид не имел шансов на выживание. «Растворенность» в окружающем мире, психологическое отождествление с ним остались в коллективной памяти последующих поколений как недостижимая гармония Золотого века.

Лавинообразное увеличение числа разнообразных предметов и явлений, с которыми имел дело человек, постепенно перерастало в настоящую проблему. Достаточно сказать, что общее количество древнегреческих божеств на закате эпохи превышало двадцать тысяч. В результате память человека неизбежно перенасыщалась. Это создавало на пути эволюции информационный барьер, который мог быть преодолен только в результате перехода к рациональному мышлению на базе абстрактных понятий. Таков был объективный стимул к развитию современных форм мышления посредством абстракций.

## 2. Архаика. Ферекид и Феспис — ее последний рубеж

Начало следующей стадии эволюции человека связано с освоением первого уровня абстрактного мышления, обеспечивающего одномерные логические конструкции. Эта одномерность дает возможность говорить об одномерном сознании на этой стадии эволюции, или о «моноархетипе». Результатом явился первый шаг к индивидуализации человека — его выделению из окружения.

В эпоху архаики человек начал воспринимать себя как независимый объект, что связано с ощущением физического барьера. Для нас подобное разделение представляется, прежде всего, как граница между двумя объемами. В древности, при отсутствии сформированного чувства пространства, подобный барьер мог восприниматься лишь как «градиент» между «я» и «не я», то есть как «направление» — одномерность.

Переход к одномерному мировосприятию зафиксировал миф об изгнании человека из рая. Этот сюжет носит достаточно универсальный

26) Там же. С. 253–254.

характер и существует в разных культурах. Так, он изображен на «печати Адама и Евы», хранящейся в Британском музее, которая датируется концом Аккадской династии неолитического возрождения.

Согласно библейскому мифу, Высший гнев обрушился на человека за то, что тот отвернулся от Бога. Конкретной причиной изгнания, однако, почему-то послужило яблоко, съеденное первой женщиной. Связь между этими фактами не очевидна и требует пояснения. В мифе указывается, что яблоко было плодом дерева познания добра и зла. Дихотомия добра и зла могла возникнуть только на стадии одномерного мышления. Тем самым съеденное яблоко символизировало начало «знания» — рационального мышления, которое положило конец гармонии бытия в единстве с окружением, начало десакрализации сознания и постепенный отход от абсолютной веры в Божественное устройство мира. Вот где кроется отказ человека от Бога.

Показательно, что героем, вернее, героиней этого сюжета выступала женщина. Женщина, в силу специфики физиологии, от природы наделена «чувством времени» — она способна понимать отложенный результат. Этим определялось доминирование женщин на стадии матриархата. По этой же причине женщины были адептами первых оргиастических культов, таких как, к примеру, культ Диониса. Через погружение в ритуальное «безумие» (коллективное бессознательное) происходило стимулирование развития личностного начала. Мужчины подключились к этому процессу на следующем этапе древнегреческой истории. Женщины же остались, в силу все тех же физиологических особенностей, на периферии мира людей-мужчин, — будущих граждан, — охраняя его от миазмы смерти.

Активным началом в мифе об изгнании из рая выступает змей, и это также не может быть случайным. В мифе вообще не бывает случайных элементов. Змей принадлежал к хтоническим силам и потому был носителем мудрости. Именно ему, универсальному одномерному архетипическому персонажу, было «доверено» мифом завершение нуля-мерного гармоничного «нерасчлененного» бытия.

Освоение одномерных логических конструкций сделало доступной для человека первую одномерную категорию — время. Чувство времени создало альтернативу между «жизнью» и «нежизнью». Жизнь, смерть и время еще



#### Одномерный мир

...Время возникло вместе с небом, дабы, одновременно рожденные, они и распались бы одновременно, если наступит для них распад; первообразом же для времени послужила вечная природа, чтобы оно уподобилось ей, поскольку, возможно, такими были замысел и намерение Бога относительно рождения времени...

*Платон. Тимей*



не воспринимались столь абстрактно, как сегодня. Время поначалу выражалось через процессы, окружавшие человека во внешнем мире, — горящий огонь, текущую воду или дующий ветер. «Оно [время — Д. М.] скорее каче-



«Печать Адама и Евы»  
(Британский музей)

ственно ощущается, чем представляется. ... Имеющее произойти событие, как правило, не помещается определенным образом на том или ином расстоянии на линии будущего времени; и представляется, и чувствуется оно неясно, просто как долженствующее случиться»<sup>27)</sup>. Несмотря на мистическую специфику, категория «архаического» времени наделила человека предвидением отложенного результата, что позволило ему переключиться с охоты на земледелие.

Литература зафиксировала эту перемену. Если «Илиада» посвящена воинским подвигам, то более поздняя «Одиссея» повествует о «возвращении домой». Строго говоря, одномерное миропредставление землепашца было впервые отражено Гесиодом. Главное произведение «отца истории» напрямую воспеваает достоинства сельского труда. Более того, описанное им генеалогическое древо богов стало первой попыткой божественной хронологии, в которой архаические божества безмерного точечного мира объединялись в более-менее единую картину мироздания. Напомним, что в космогонии Гомера нет и намек на последовательность событий в начале мира, то есть тема «времени» у него совсем не разработана.

Завершающую черту под эпохой архаики подвел Ферекид Сиросский. На вершине божественной иерархии этот мудрец расположил Кроноса, бога времени. Естественно, что и в этой картине мира не было даже намека на физическое пространство. Ферекид представлял мир символически — в виде дуба. Однако временная динамика процессов становилась более акцентированной. Поскольку пространства как среды, в которой могло бы происходить развитие персонажей, не существовало, новорожденный Зевс должен был быть съеден своим отцом, чтобы, повзрослев внутри него, благополучно выйти на свет и положить начало следующей эпохе. Тем самым миф о рождении Зевса описывает переход к следующему этапу эволюции, но, в отличие от мифа об изгнании из рая, эволюции более ранней — божественной.

Одномерное сознание породило одномерные литературные формы: эпос и, несколько позже, басню. Исследования, проведенные В.Н. Ярхо и Е.Р. Доддсом, продемонстрировали, что эпическая одномерность не предполагала ни настоящей оппозиции, ни сколько-нибудь серьезного конфликта. В эпосе действуют одномерные боги и герои, у которых нет личности. «Гомеровский человек лишен единой концепции того, что мы называем „душой“ или личностью... Хорошо известно, что Гомер наделяет человека *psyche* (душой) только после смерти, или когда он находится в состоянии слабости, или когда умирает, или когда ему угрожает смерть»

27) Леви-Брюль А. Первобытный менталитет. С. 97.

ная опасность: единственная форма *psyshe*, которая может быть здесь отмечена в связи с живым человеком, — это покидать тело человека. Однако, помимо *psyshe*, Гомер не знает никакого другого слова для обозначения живой человеческой личности»<sup>28)</sup>. Точно так же в современной эпосу «прямолинейной» геометрической вазописи «принципиально нет места человеку и общественным явлениям, так как для них требуется узор, а не изображение. Поэтому появление в середине VIII в. до н. э. изображений людей расценивается как начало крушения геометрического стиля... Показательно, что люди появляются не поодиночке, а сразу группами»<sup>29)</sup>.

Исход одномерного человека из гармонии окружения, положивший начало периоду архаики, наполнил жизнь человека драматизмом. Этот новый психологический фон получил свое отражение в драме. Массовое ритуальное действие представило ту же «пространственную» метаморфозу в самом буквальном пространственном виде, сперва разделив прежде единое племя на «актеров» и «зрителей», а затем и выделив из «массовки» безличностной хорей единственного актера. Характерно, что Феспис, «игравший», как считается, трагедию в ее ранней форме и давший название актерской профессии, был современником Ферекида Сиросского. Те же тенденции к структуризации прослеживаются и в социальной организации древнегреческого общества.



Персонаж эпоса

«Лишь от противоположности зажигается жизнь», — писал Карл Густав Юнг<sup>30)</sup>. Одномерная оппозиция ускоряла жизненные процессы. В период архаики человек, отделившись от окружения, ускоряющимися темпами накапливал информацию о внешнем мире. Для обработки сознанием возросших потоков информации требовался более высокий — двоичный — уровень абстракции. Наступал следующий период древнегреческой истории.

### 3. Два этапа классического периода: Фалес и Эсхил; Пифагор и Софокл

Новый уровень индивидуализации, выразившийся в факте отделения человека из коллектива, объективировался также через смену чернофигурного стиля вазописи краснофигурным. В пространственных терминах это означает усложнение организации личностной области внутри коллективного бессознательного и повышение размерности восприятия внешнего пространства. Новая связность мышления позволяла охватить большие пространства, и ближняя зона как бы растягивалась на плоскость. Одномерность трансформировалась в двухмерность.

Классический период всецело связан с реализацией двоичных логических конструкций. Двоичное сознание, или «бинарный архетип», становится специфическим знаком эпохи<sup>31)</sup>. На этой базе стало формироваться

28) Доддс Е. Р. Греки и иррациональное. М.—СПб., 2000. С. 25.

29) Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии от Гомера до Перикла. С. 59.

30) Юнг К. Г. О психологии бессознательного. С. 91.

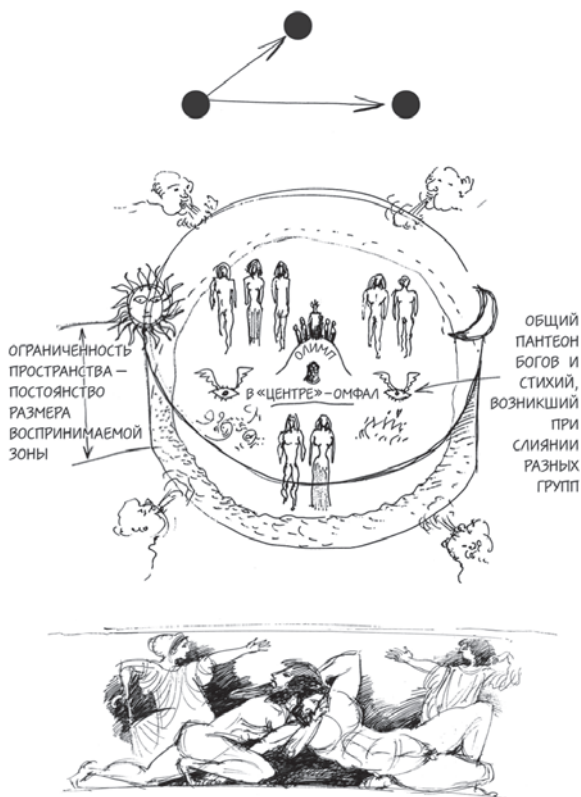
31) См.: Уваров М. С. Бинарный архетип. СПб., 1996.

рациональное мышление, которое способствовало становлению «научного» мышления, столь знакомого нам сегодня. Начало нового, личностного, этапа эволюции, в силу своей необычайной продуктивности и качественно

нового характера результатов творческой деятельности, вслед за Эрнестом Ренаном было названо «греческим чудом».

Двоичность мышления воплощалась в новых формах и продуктах творческой деятельности, порождала новую связность мировосприятия, несмотря на то, что человек сохранял тесную связь с ближней зоной. В этот период началось объединение разрозненных культов, календарей, стал вырабатываться единый язык. Человек начал воспринимать других людей как равных в процессе коммуникации. Возникла рефлексия. В жизнь классического периода вошли диалог, двоичная диалектика, дуализм и другие характерные явления.

Фалес Милетский, заложивший основы современного научного мышления, считается одним из первых великих мудрецов периода «греческого чуда». Он известен как создатель плоскостной геометрии. Опираясь на двумерными геометрическими фигурами, даже в случае измерения высоты пирамид, Фалес устанавливал первые логические закономерности. Созданная им философия также



### Двухмерный мир

Это пример возвращения того типа человека, который соответствовал строю, предшествовавшему олигархии... И каков этот государственный строй? Ясно, что он отразится на человеке, который тоже приобретает демократические черты.

Платон. Государство

откровенно плоскостная — двумерная: плоский диск, окруженный водой, сменил символический образ земли в виде дуба, описанного Ферекидом.

Несмотря на очевидные достижения, новому типу сознания предстояло преодолеть традицию мифологического мышления. И хотя представления Фалеса были реализацией бинарного принципа, ее автор продолжал оперировать эмоциональными образами. Так, фалесова вода, трактуемая как универсальный принцип, породивший все живое, оставалась божеством. Интересно, что ученик Фалеса, Анаксимандр, полагал в качестве начала «беспредельную» субстанцию, но в смысле не ее бесконечности, а «безграничности», нерасчлененности, оставшейся в Золотом веке. Но именно

Анаксимандр начал трактовать возникновение мира как «борьбу и обособление противоположностей»<sup>32)</sup>. Высшей философской реализации бинарный принцип достиг в форме таблицы пифагорейских противоположностей, которые представляли, по мысли ее создателя, фундаментальные категории.

В психологическом отношении классический период оказался наиболее драматическим в древнегреческой истории, и дело здесь отнюдь не в войнах или иных исторических событиях. Внешних проблем древним грекам хватало всегда. Как показывают результаты раскопок, предшествующий период истории был беспокойным до такой степени, что греки, как мужчины, так и женщины, были вынуждены не расставаться с оружием даже ночью. Главные проблемы носили внутренний характер. К этому периоду процесс эволюции достиг таких темпов, что новизна становится отличительной чертой повседневной жизни. Очевидно, что далеко не все древние греки могли легко справиться с этой нагрузкой. Причиной еще одного, неведомого ранее психологического конфликта становится двоичность. Вновь понимаемые оппозиции и противостояния теперь окружали человека со всех сторон, постоянно вынуждая его делать выбор. И наконец — новая свобода. Она ждала человека не только за пределами столь хорошо знакомой ближней зоны. Новыми опасностями и страхами был полон и вновь обретаемый внутренний мир. Все эти явления сегодня хорошо известны из детской психологии и патопсихологии. На наш взгляд, именно их суммарное действие породило многочисленные явления, связанные с нестабильностью психики и трагическим мироощущением массового древнегреческого сознания, получившие отражение в ритуальных формах.

Эсхил развил эти тенденции в драматическую форму трагедии, основанную на двоичных оппозициях, тем самым превосходящую миф, эпос и басню. Реализуя двоичную диалоговую форму, «отец трагедии» вывел на сцену второго актера. Не отменяя божественного контроля над своими персонажами, Эсхил освобождал разум, который начинал играть существенную роль в наиболее критические моменты развития сюжета. Разуму теперь отводилась роль связи с божественным мирозданием. Именно их — разум и внешний мир — Эсхил сталкивал в трагическом конфликте.

Хотя внутренние проблемы у Эсхила еще только намечались, но впервые возникала связь между разумом и эмоциями. В этих условиях основу изображения характера составляло не индивидуальное своеобразие человека в совокупности его психических свойств, а субъективная мотивировка поведения и столь же субъективная ответственность. Элемент субъективной вины и ответственности был еще одним нововведением «отца трагедии». Однако оценка эсхилевским героем своих поступков происходила, как и



Персонаж  
эсхилевской трагедии

32) Рожанский И. Д. Ранняя греческая философия // В кн.: Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. Ч. 1. С. 11.

прежде, с позиции интересов коллектива — государства, и, как следствие, проблема выходила за рамки его личного благополучия.

Тем не менее появление морального аспекта в творчестве Эсхила указывает на усиление личностного начала, то есть на возникновение внутреннего пространства, означающего, в свою очередь, преодоление двоичного принципа в его чистом виде — как «плоскость». Это предположение подтверждается самим фактом возникновения трагедии. Аттическая трагедия, представлявшая собой сакральную драму, составляла часть Великих городских дионисий и была ответом на усиление повествовательности и описательности в обществе, еще не освоившем зрительных навыков. В то же время орфики свели молитвы в сборники гимнов, представлявшие собой священную книгу.

В древнегреческом обществе наметились отчетливые тенденции в направлении десакрализации сознания. В классический период традиционная гомеровская религия, продолжавшая определять сознание основной массы населения, начала терять свой авторитет. В Афинах была проведена религиозная реформа, сблизившая столицу с Элевсином. В ходе этой реформы культ Диониса становится официальной государственной религией, а на юго-западном склоне Акрополя начинается строительство первого театра. Именно в этот исторический период образ бога виноделия и патрона театра, претерпевший значительную эволюцию от рядового демона, достигает апогея самостоятельности и двоичности.

Несмотря на явный прогресс, о троичности еще говорить не приходится, а потому можно предположить достижение промежуточной мерности, которую следует определить как «два плюс один». Геометрически эта пространственная парадигма представляется в виде плоскости с вертикалью.



Персонаж  
трагедии Софокла

Для религиозного миропредставления вертикаль служила воплощением монотеистического божественного начала. В средние века реализация этого принципа вознесет в небо шпили готических соборов, а пока, во времена древнегреческой Античности, он соответствовал религиозным представлениям орфиков, которые вместе с элевсинским жречеством вывели на «сцену» истории страдающего сына божьего Диониса. У Эсхила, потомка элевсинских жрецов, встречаются

образы орфического пантеистического божества, которого он либо ассоциирует с Зевсом, либо даже представляет как самостоятельный высший принцип. «Так Эсхил преподносит афинянам новое монотеистическое понимание бога. Это было нечто невиданное: новая концепция бога из потемок тайных учений вдруг выносятся на свет дня, прямо на сцену...»<sup>33)</sup>

Первый шаг в «третье измерение» совершил Пифагор. Именно он считается изобретателем двух первых объемных фигур — треугольной пирамиды и куба. Этот факт весьма характерен: наивно было бы предполагать, что древние греки до того не знали этих фигур — строили же они себе и своим

33) Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии от Гомера до Перикла. С. 424.



богам жилища! Речь здесь о другом — о пространственной парадигме следующего уровня развития.

В драме Софокл ввел третьего актера. В его трагедиях божественное управление заметно ослабело, и трансцендентное в большей мере становилось фоном, на котором раскрывалась самостоятельная деятельность человека. Но софокловский персонаж все еще далек от того, чтобы называться самостоятельной личностью, и лишен индивидуальных черт. Индивидуализацию Софокл осуществлял за счет уникальности ситуации, а также через противопоставление персонажей, резко различавшихся чертами характера либо уровнем знания. При этом Софокл усиливал моральный аспект, вплотную подходя к изображению личности.

#### 4. Переход к трехмерному миру: Парменид, софисты и Еврипид

Во внутренний мир человека трагический конфликт перенес Еврипид. Это означает, что размеры этого мира возросли, а структура усложнилась настолько, что стали возможными противопоставления между отдельными частями внутреннего пространства. Теперь персонажи «в трагедиях интриги действуют из совершенно конкретных личных побуждений...»<sup>34)</sup>. Еврипид не хотел более идеализировать своих персонажей, как это делали его предшественники Эсхил и Софокл. Процесс индивидуализации иллюстрируется также изменениями, которые претерпевал язык трагедии.

Усиление личностного начала неизбежно вело к десакрализации сознания. Миф в этой ситуации переставал быть частью «священной истории», в значительной степени превращаясь в арсенал сюжетов и персонажей, живущих в мире случайности, которую уже далеко не всегда можно назвать трагической. Названные тенденции приводят к разрыву с мифологической традицией, что знаменует низведение трагедии до уровня бытовой драмы.

Из анализа драматического материала трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида, так же как теорий их современников-философов, можно видеть, что древние греки начинали свой путь к высотам классической культуры буквально с «другой стороны сознания». Не только герои трагедий, но и сами авторы находились в процессе личностного развития, шаг за шагом поднимаясь по ступеням «лестницы абстракций». Каждая ступень этой «лестницы» обеспечивала новое качество мышления и, соответственно, предполагала иное мировосприятие. И хотя жизни Эсхила, Софокла и Еврипида пришлось на одно столетие, каждый из великих трагиков демонстрировал вполне определенный этап развития сознания, новый уровень абстрактного мышления и все большую дистанцию с архаическим мифологическим сознанием. Их творческая деятельность все в большей мере раскрывала острейший конфликт между предыдущей безличной двоичной



Человек трагедии Еврипида

34) Ярхо В. Н. Трагедия. М., 2000. С. 27.



формой и новым личностным содержанием. Преодолевая это новое ограничение, они невольно становились «могильщиками» как метафизики, так и аттической трагедии, двоичная форма которой не могла вместить новое трехмерное содержание.

Новое мировоззрение утверждалось через мифологические образы, которые включались в рациональные методы познания. Пифагор отождествлял геометрические фигуры с числами.



**Трехмерный мир.**

Значит, раз видов государства пять, то и у различных людей должно быть пять различных устройств души.

*Платон. Государство*

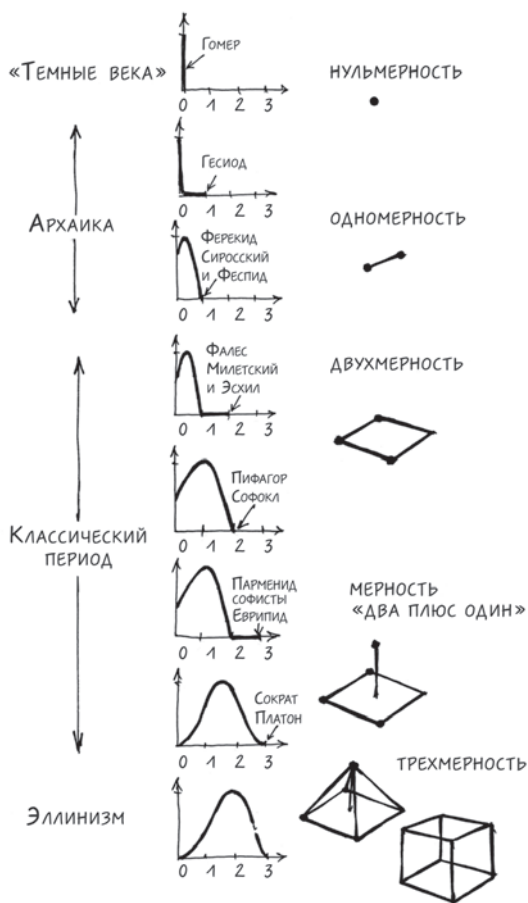
Пифагор отождествлял геометрические фигуры с числами. Последние представляли более высокий уровень абстракции по отношению к фалесовой жидкой субстанции — «воде», но все еще продолжали оставаться эмоциональными образами — богами. Тем не менее переход к числам и использование их в качестве базы для трансцендентных законов были огромным шагом в процессе эволюции. Его результатом явилась математическая логика, поначалу преимущественно мистическая.

Парменид применил закономерности новой логики к философским проблемам. Вместе с софистами он раскрывал трехмерные принципы мироздания, соотнося их суть с божественными откровениями. Тем не менее эти теоретические построения революционизировали Античность и отчетливо свидетельствовали, что человек приближается к следующей, трехмерной стадии развития.

На пороге эллинизма стояли Сократ и Аристофан, которые стали обращаться непосредственно к человеку и фактически «оперировать» с его внутренним пространством. Сократ расширил логический метод Парменида на человека, а Аристофан пред-

ставил афинской публике бытовую «среднюю» комедию, которая сосредоточивалась на повседневной жизни и личностных проблемах.

Постепенно у человека формируется визуальное представление о пространстве как о среде, заполняющей промежутки между предметами, которые до этого виделись разделенными пустотой. Так что внешний мир, который прежде состоял из изолированных «точек» или «фрагментов», постепенно стал обретать связное единство. Соответственно, если ранее художники использовали аксонометрию, то теперь они стали демонстрировать навыки более верного соположения предметов, используя более



Развитие пространственных представлений в рамках древнегреческого этноса

совершенные методы перспективных построений. Возникающая целостность внешнего пространства отражала развитие внутреннего пространства человека, укрепление его личностного начала и, с другой стороны, — способность его мыслить более связно.

В религиозной сфере торжество троичной парадигмы означало скорый приход новой религии — христианства.

Мы прошли по ступеням развития человека в рамках древнегреческого этноса. Эта закономерность имеет фундаментальный характер и потому универсальна для всех периодов истории и всех групп общества. Когда этнос реализует трехмерную пространственную парадигму, максимально доступную нашим органам чувств, он умирает. Пассионарная энергия переходит к следующему этносу, в рамках которого описанный процесс повторяется вновь, но в контексте другой исторической эпохи, свойства которой определяются парадигмой более высокого — в нашем случае общеевропейского, — уровня.

## Заключение

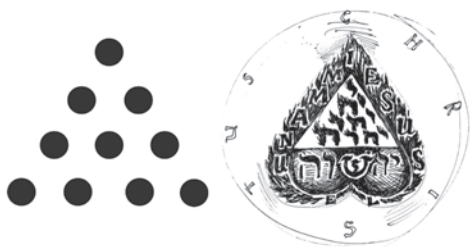
Нет ничего практичнее хорошей теории.

*Альберт Эйнштейн*

По всей видимости, описанные пространственные закономерности были известны древним. В частности, в кротонской школе, где акцент делался на развитие личности, согласно утверждениям Фиона из Смирны, пифагорейцы возносили молитвы к тетрактису: «Благослови нас, о божественное число, породившее богов и людей! О святая, святая тетрактис! В тебе источник и корни вечно цветущей природы! Ибо это божественное число начинается чистой и глубокой единицей и достигает священной

четверки; затем оно порождает праматерь всего сущего, ту, что все объединяет, ту, что первой родилась... священную Десятку, ключ ко всем вещам»<sup>35</sup>). Тетрактис, так же как и весьма напоминающий его по своей структуре тетрагамматон или четырехбуквенное Имя Бога, был структурирован в четыре уровня: первый содержал одну точку, второй — две, третий — три и нижний, четвертый, — четыре. Известно, что пифагорейцы представляли числа геометрически и для них существовали тождественные ассоциации между единицей и точкой, двойкой и линией, тройкой и двухмерной плоскостью и, наконец, четверкой и трехмерной пространственной фигурой. Так что в тетрактисе оказывается наглядно прошита пространственная динамика развития человека.

Ставивший своей высшей целью построение идеального государства, Пифагор своей мистической геометрией в определенном смысле отражал и даже предвосхищал развитие древнего общества.



Тетрактис и тетраграмматон

Пространственная парадигма человека не есть неизменная данность, — это переменная. Она постоянно трансформируется соответственно уровню развития человека. Изменение восприятия пространства носит как количественный, так и качественный характер. Первое — это увеличение размера пространства, доступного восприятию человека, второе — изменение воспринимаемой размерности. Размерность пространства, воспринимаемая человеком, равняется

мерности архетипа его сознания. Соответственно, изменяются мировоззренческая модель и ценностные установки. Наподобие кристаллической решетки, пространственная парадигма определяет внешнюю форму и внутреннее содержание всех продуктов деятельности человека. Анализ этих форм позволяет устанавливать новые связи, прежде остававшиеся вне поля внимания исследователей.

Предлагаемый метод предоставляет новые и чрезвычайно богатые возможности для системного междисциплинарного анализа разнообразных исторических процессов, реализующих динамику развития антропных систем, а также отдельных личностей, устанавливать взаимосвязь между различными процессами как на коллективном уровне, так и индивидуальном, а также смешанные — между первыми и вторыми. «То, что следует сказать о человечестве вообще, относится также и к каждому отдельному человеку, ибо все человечество состоит из отдельных людей. И то, что является психологией человечества, это также и психология отдельного человека», — писал Карл Густав Юнг<sup>36</sup>). Отмеченная закономерность, вопреки

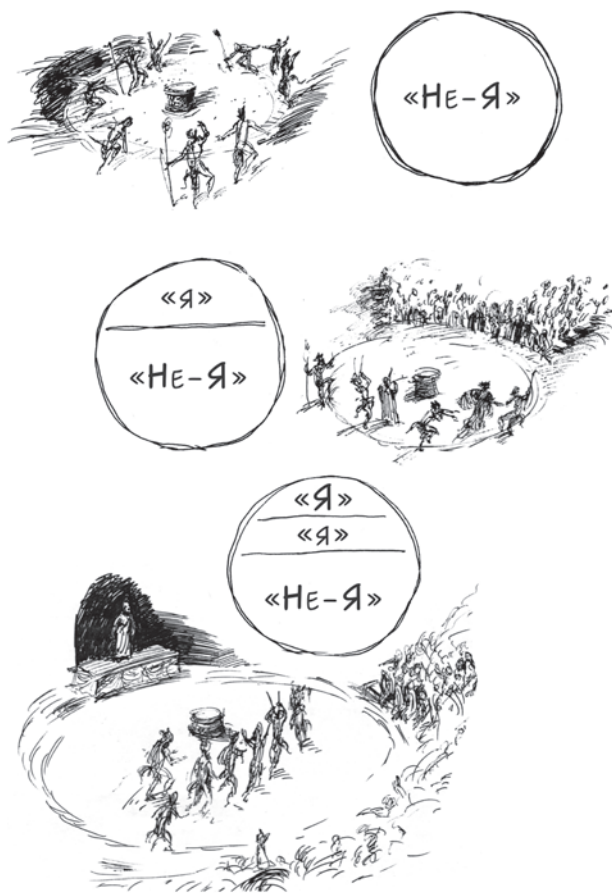
35) Даан-Дальмедико А., Пейффер Ж. Пути и лабиринты. Очерки по истории математики. М., 1986. С. 63.

36) Юнг К. Г. О психологии бессознательного. С. 86.

доминирующим в современной гуманитарной науке представлениям, распространяется и на отдельного человека. Да и как может быть иначе! Если бы нарушалась изоморфность развития системы на разных уровнях, то это породило бы внутренний кризис.

Выявленная зависимость может быть применена для анализа любых исторических периодов. Ограничусь примером трехчленного деления развития пространственной парадигмы, ранее отмеченного для древнегреческой истории: средневековье — раннее, период романской культуры, готика; Возрождение — раннее, маньеризм, барокко; Новое время — Просвещение, романтизм; и заключительный период, который продолжается по настоящее время. Каждый первые, каждые вторые и каждые третьи периоды качественно отличаются друг от друга, но имеют ярко выраженные общие характеристики, проявляющиеся в формах и содержании культуры. Отмеченные зависимости носят фундаментальный характер и могут рассматриваться как законы развития антропных систем.

Таким образом, частные пространственные различия, с рассказа о которых я начал статью, не только дают повод задуматься об особенностях российской ментальности, но и подсказывают направление, в котором следует двигаться, чтобы решить острейшие практические проблемы, реально препятствующие развитию страны. Как это ни странно, но перед древними греками стояла весьма схожая задача: стимулирование развития личностного начала человека. Не образование, на которое направлены национальные проекты, а *воспитание личности*. Древние греки не только нашли ответ, но и активно применяли на практике эффективные механизмы. В результате этот личностный импульс сформировал европейскую цивилизацию, и его инерцией мы продолжаем жить сегодня.



Связь между динамикой развития личностного начала и структурой древнего ритуала